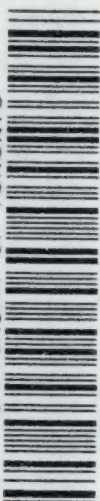


UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 00312656 2

Danilov, Vladimir
Valerianovich

Kommentarii k romanu I.S.
Turgeneva "Rudin"

PG

3420

R83D3

1918a

KOMMENTARI K ROMANU
I. S. TURGENEVA "RUDIN"

V. V. Danilov

Published on demand by

UNIVERSITY MICROFILMS

University Microfilms Limited, High Wycomb, England

A Xerox Company, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
University of Toronto

* * *

This is an authorized facsimile of the original book, and was produced in 1971 by microfilm-xerography by University Microfilms, A Xerox Company, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

* * *

Россійская Коммунистическая партія (большевиновъ).

„Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!“

Danilov, Vladimir Vladimirovich
Kommentarii k romanu I.S. Turgen
neve Rudin

КОММЕНТАРІИ

КЪ РОМАНУ

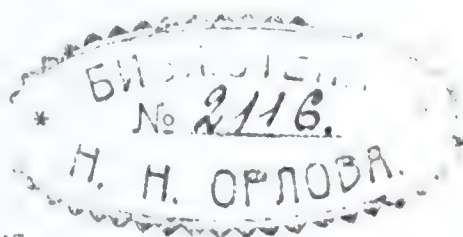
И. С. ТУРГЕНЕВА

„РУДИНЪ“.

ПОСОБІЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ РОМАНА.

СОСТАВИТЕЛЬ

В. В. Даниловъ.



HOOPER MAR LIBRARY

Книгоиздательство „КОММУНИСТЪ“.

Москва, Срѣтенка, д. 8,
уг. Рыбникова пер.

Москва, 2-й домъ Совѣтовъ,
Театральная площадь.

Петроградъ, Поварской пер., д. 2,
кв. 9, 10 и 11. Тел. 227-42.

Петроградъ, Литейный пр., д. 48.



RG
3420
R82D3
1918a

Книжный склад „КОММУНИСТЪ“,

Москва, Срѣтенка, 8 (уг. Рыбникова пер.).

Петроградъ, Поварской пер., д. 2, кв. 9 и 10. Тел. 227--42.

БИБЛИОТЕКА ОБЩЕСТВОВЪДѢНІЯ.

- Кн. 1-я. **И. П. Покровский.** Членъ Гос. Думы. Государственный бюджетъ Россіи за послѣдніе 10 лѣтъ (1901—1910). 2 р.
- Кн. 2-я. **Исторія социализма.** Въ монографіяхъ К. Кауцкаго, П. Лафарга, К. Гуте и Э. Бернштейна. Перев. Е. И. Леонтьевыхъ. Ч. I. Отъ Платона до анабагистовъ. Ч. II. Отъ Томаса Мора до кануна великой революціи. За обѣ части 4 р.
- Кн. 3-я. **М. С. Александровъ.** Государство, бюрократія и абсолютизмъ въ исторіи Россіи. 2 р.
- Кн. 4-я. **Петръ Масловъ.** Аграрный вопросъ въ Россіи. Томъ I. (Условія развитія крестьянскаго хозяйства въ Россіи). 4-е, дополн. изд. Съ прилож. статей: 1. О принципахъ основъ аграрной программы. 2. Мнѣнія критиковъ. 2 р. 50 к.
- Кн. 5-я. **Петръ Масловъ.** Аграрный вопросъ въ Россіи. Томъ II. Кризисъ крестьянскаго хозяйства и крестьянское движеніе. 3 р.
- Кн. 6-я. **Петръ Масловъ.** Капитализмъ. Ч. I. Наемный трудъ и заработная плата. 3 р.
- Кн. 7-я. **Петръ Масловъ.** Исторія народнаго хозяйства. 3 р.
- Кн. 8-я. **А. М. Коллонтай.** Общество и материнство. Государственное страхованіе материнства. 4 р. 50 к.
- Кн. 9-я. **А. М. Коллонтай.** Страхуваніе материнства. Томъ 2.
- Кн. 10-я. **А. Деборинъ.** Введеніе въ философію диалектическаго материализма. Съ предисловіемъ Г. В. Плеханова. 4 р.
- Кн. 11-я. **Вл. Кранихфельдъ.** Въ мірѣ идей и образовъ. 3 р. 50 к.
- Кн. 12-я. **Мих. Невѣдомскій.** Зачинатели и продолжатели. 3 р. 50 к.
- Кн. 13-я. **С. Т. Семеновъ.** Двадцать пять лѣтъ въ деревнѣ. 2 р.
- Кн. 14-я. **Владимиръ Бончъ-Бруевичъ.** Духоборцы въ канадскихъ преріяхъ. 3 р.
- Кн. 15-я. **Владимиръ Бончъ-Бруевичъ.** Изъ исторіи русскаго духоборчества. 3 р.
- Кн. 16-я. **Владимиръ Бончъ-Бруевичъ.** Новый Израиль. 3 р.
- Кн. 17-я. **Владимиръ Бончъ-Бруевичъ.** Среди сектантовъ. 3 р.
- Кн. 18-я. **Владимиръ Бончъ-Бруевичъ.** Изъ міра сектантовъ. 3 р.
- Кн. 19-я. **Фр. Энгельсъ.** Положеніе рабочаго класса въ Англіи. Переводъ съ нѣмецкаго Н. Е. Леонтьевыхъ. 4 р.
- Кн. 21-я. **Фр. Лассаль.** Письма Ферд. Лассали къ К. Марксу и Ф. Энгельсу. Съ примѣчаніями и приложеніями Ф. Меринга. 2 р.
- Кн. 22-я. **Ю. Каменевъ.** Объ А. И. Герценѣ и М. Г. Чернышевскомъ. 1 р. 50 к.
- Кн. 24-я. **Ф. Тахтаревъ.** Соціологія какъ наука. 1 р.
- Кн. 25-я. **Ю. Каменевъ.** Экономическая система империализма. 1 р. 50 к.
- Кн. 26-я. **К. Марксъ и Фр. Энгельсъ.** Манифестъ коммунистической партіи. 1 р.
- Кн. 27-я. **В. П. Милютинъ.** Рабочій вопросъ въ сельскомъ хозяйствѣ Россіи. 1 р. 50 к.

УДАЛИЛИ ВСЕ ЧЕРНОЕ

МОСКВА.

Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., соб. д.
1918.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
I. Исторія написанія романа	5
Глава I.	
II. Посѣщеніе Александрой Павловной Липиной больной старухи .	6
III. Камеръ-юнкеръ баронъ Муффель	—
IV. Проживающій въ Одессѣ благопотребный старецъ Роксожанъ Меларовичъ Ксандрыка	7
Глава II.	
V. Домъ Д. М. Ласунской, сооруженный по рисункамъ Растрелли во вкусѣ прошедшаго столѣтія	8
VI. „Салонъ уже начался“	9
VII. Разсказъ Пигасова о помещицѣ Еленѣ Антоновнѣ Ченузовой .	—
VIII. Грибоѣдовскій стихъ, приводимый Дарьей Михайловною . . .	10
IX. Писемки Пигасова на дѣ малорусскимъ языкомъ и литературою	11
Глава III.	
X. Нападки Пигасова на общія разсужденія	12
XI. Токвиль	14
XII. Рудинъ—путешествующій принцъ	—
Глава IV.	
XIII. Madame Récamier	—
XIV. Canning—Каннингъ	15
Глава V.	
XV. „Поэзія—языкъ боговъ“	—
XVI. Самообличеніе Рудина	—
XVII. „О честности высокой говорить“	16
XVIII. Синій чулокъ	—
Глава VI.	
XIX. Прошло два мѣсяца	17
XX. Отношеніе Рудина къ членамъ дома Ласунской	—
XXI.	—
XXII. „Фаустъ“ Гёте	18
XXIII. Гофманъ	—
XXIV. Письма Беттины	—
XXV. Новалисъ	—
XXVI. Германская поэзія	19
XXVII. Взгляды Рудина на любовь	20
XXVIII. Печоринство въ характеръ Рудина	—

	<i>Стр.</i>
XXIX. Рудинъ-Тартюфъ	22
XXX. Покорскій	—
XXXI. Философскія идеи кружка Покорскаго	26
XXXII. Участники кружка Покорскаго	30
XXXIII. Рудинъ-Бакунинъ	32
XXXIV. Рудинъ и общія черты русской интеллигенціи 30—40-хъ годовъ	35
XXXV. Лежневъ — подражатель Байрона	38
XXXVI. Навель и Виргинія	39
XXXVII. Наталья въ характеристикѣ Лежева	—

Глава VII.

XXXVIII. Мнѣніе Рудина о призваніи женщины	40
XXXIX. Ла-Рошфуко	—
XL. Рудинъ—куцый	—

Глава IX.

XLI. Лавласъ	41
XLII. Свиданіе Рудина съ Натальей у Авдюхина пруда	—

Глава XI.

XLIII. Сравненіе Рудина съ Донъ-Кихотомъ	43
XLIV. Письмо Рудина къ Натальѣ	—
XLV. Душевное состояніе Натальи послѣ полученія письма Рудина	45
XLVI. „Кто чувствовалъ, того тревожить“	—

Глава XII.

XLVII. Корчагинъ	—
XLVIII. Націоналистическія идеи Лежева	46
XLIX. Настойчивость въ характерѣ Рудина	48
I. Учительство Рудина	49
II. Рудинъ и Гамлетъ Щигровскаго уѣзда	50
III. Противорѣчіе въ словахъ Рудина	—
IV. „Смерть должна примирить“	51
V. „Наши дороги разлѣлись“	—
VI. Мистическое значеніе странствованій Рудина	53
VII. „Національныя мастерскія“	54
VIII. Изображенія природы въ романѣ Рудина	56
IX. Взгляды на Рудина людей 40-хъ годовъ и представителей русской мысли 50—60-хъ годовъ	58
*LXI. Двойственное отношеніе Тургенева къ Рудину	64
LXII. Вліяніе историческаго момента на двойственное отношеніе Тургенева къ Рудину	68
LXIII. Иностранныя критики о Рудинѣ	72
LXIV. Литературные образы, напоминающіе Рудина	73

1. *Исторія написанія романа.*—На рукописи «Рудина» Тургеневымъ сдѣлана надпись: «Начать 5 іюня 1855 г. въ воскресенье, въ Спасскомъ, окончить 24 іюля въ воскресенье, тамъ же, въ 7 недѣль. Печатанъ уѣз. большими прибавленіями въ январской и февральской книжкахъ «Современника» 1856 г.». Изъ записи видно, что «Рудинъ» былъ передѣлываемъ авторомъ уже послѣ того, какъ былъ написанъ. О томъ же говоритъ письмо Тургенева къ С. А. Аксикову изъ Спасскаго отъ 3 августа 1855 г.: «Я воспользовался уединеніемъ и бездѣйствіемъ и написалъ болѣешую повѣсть... Я ни надъ однимъ моимъ произведеніемъ такъ не трудился и не хлопоталъ, какъ надъ этимъ; конечно, это еще не ручательство; но, по крайней мѣрѣ, самъ передъ собою правъ. Коли Пушкинъ! Ежели трудился и передѣлывалъ десять разъ свои вещи, такъ ужъ имѣлъ, маленькимъ людямъ, самъ Богъ велѣлъ». (Вѣстникъ Европы, 1894, книга 2). Въ другихъ письмахъ Тургеневъ сообщаетъ, что работа надъ романомъ двигалась не особенно быстро. 10 іюля онъ пишетъ Краевскому: «Такая жара, что невозможно писать». Други-жанину: «Хандрю... и лишь изрѣдка могу заставить себя работать». (Первое собраніе писемъ Н. С. Тургенева, 12). Если принять это во вниманіе, то надо заключить, что Тургеневъ писалъ романъ не планомерно все семь недѣль, а только урывками. Получается, такимъ образомъ, сравнительно короткій срокъ работы для произведенія порядочныхъ размѣровъ, какимъ является «Рудинъ» въ настоящей редакціи. Огеюда ясно, почему романъ былъ напечатанъ съ большими прибавленіями: первоначальная редакція была мала для романа, не развита.

Заглавіе романа первоначально предполагалось Тургеневымъ другое—«Геніальная натура». Эти слова въ примѣненіи къ Рудину сохранились въ романѣ въ XII главѣ. Лежневъ говоритъ про него: «Онъ не мелкій человѣкъ».—«Рудинъ—геніальная натура!»—подхватилъ Басистовъ.—«Геніальность въ немъ, пожалуй, есть,—возразилъ Лежневъ,—а натура... Въ томъ-то вся его бѣда, что натура-то собственно въ немъ нѣтъ». Такая точка зрѣнія на Рудина заставила Тургенева измѣнить заглавіе романа. Выбѣлъ съ тѣмъ, здѣсь указаніе на то, что взглядъ на Рудина у Тургенева сложился не сразу. Вначалѣ онъ самъ считалъ его геніальной натурой, развѣ далъ такое заглавіе роману, но впоследствии измѣнилъ воззрѣніе на своего героя и посмотрѣлъ на его характеръ критически, что отразилось въ приведенныхъ словахъ Лежнева.

Въ январской книжкѣ «Современника» были напечатаны первыя шесть главъ романа, въ февральской—остальное. Эпизода смерти Рудина въ журнальной редакціи нѣтъ: онъ былъ добавленъ Тургеневымъ впоследствии.

ГЛАВА I.

II. *Посѣщеніе Александрой Павловной Ликиной больной старухи.* Американскій писатель Бойсзень въ своихъ воспоминаніяхъ о Тургеневѣ («Минушіе годы», 1908, VIII, 69) передаетъ слова нашего писателя: «Всякая написанная мною строчка вдохновлена чѣмъ-либо, или случившимся лично со мною, или же тѣмъ, что я наблюдалъ». Можно поэтому полагать, что Тургеневъ началъ свой романъ изображеніемъ больной умирающей крестьянки подъ вліяніемъ парившей лѣтомъ 1855 года въ окрестностяхъ Спасскаго эпидеміи холеры. Въ письмѣ отъ 3 августа этого года онъ пишетъ С. Т. Аксакову: «Какъ вы провели лѣто, которое уже на исходѣ? И его провелъ весьма однообразно—почти не выходя изъ дома—у насъ, вѣдь, была холера и довольно сильная; я ее побаиваюсь. Дома-то все ничто, а зайдешь въ какую-нибудь деревню—и вѣрнѣе придется умирать въ свиномъ сараѣ—скверно!»

Ироф. Орестъ Миллеръ пользуется даннымъ эпизодомъ для отрицательной характеристики Рудина и общества, изображеннаго въ романѣ: «Мѣсто дѣйствія романа—барскій салонъ въ стилѣ XVIII вѣка. Міръ, окружающій его, совершенно не существуетъ для проживающихъ въ немъ и даже для его просвѣтительнаго оратора и трибуна Рудина. А рядомъ этотъ міръ—душная изба, больная горячкой старуха, куда заглядываетъ самая неразвитая личность повѣсти, Александра Павловна».

III. *Камеръ-юнкеръ баронъ Муффель.*—Н. В. Шелгуновъ придаетъ образу барона Муффеля обобщающее значеніе, въ смыслѣ отрицательной характеристики героев романа, не исключая Рудина: «Дѣйствительной жизни,—говоритъ Шелгуновъ,—такой, какая существуетъ для огромнаго большинства человечества, онъ не знаетъ; но зато ему была коротко знакома искусственная жизнь обезпеченныхъ людей, жившихъ за плечами своихъ мужиковъ, какъ у Христа за пазухой. Жизнь этихъ болтуновъ была постоянною праздношью и вся дѣятельность ихъ сосредоточивалась въ однихъ разговорахъ и въ общихъ разсужденіяхъ о предметахъ, не имѣвшихъ ровно никакого отношенія ко всему тому, что ихъ окружало. Это были люди сильно возбужденной фантазіи и общихъ разсужденій. Припомните камеръ-юнкера барона Муффеля. Дарья Михайловна познакомилась съ нимъ у князя Гагарина,—тургеневскіе герои всегда князья, графы, камеръ-юнкеры и вообще люди знатнаго происхожденія и большихъ чиновъ,—этотъ почтенный камеръ-юнкеръ и баронъ обратилъ на себя вниманіе Дарьи Михайловны, плѣнивъ ее великосвѣтской блестящей болтовней и, написавъ политико-экономическую статью, желалъ подвергнуть ее

суду Дарьи Михайловны. Въ статьѣ этой трактовалось объ отноше- нияхъ промышленности къ торговлѣ въ Россіи. Не правда ли, какъ все это глупо!.. Ну, съ чего этому камеръ-юнкеру писать политико-экономическую статью, и почему понадобилось ему непременно представить свою статью на судъ Дарьи Михайловны? Занимають тебя вопросы экономическіе,—изсѣдуй ихъ, ищи, печатай, пред- ставляй ихъ на судъ публики или въ видѣ проекта министру фи- нансовъ. Конечно, такой способъ дѣйствія обнаружилъ бы стре- мленіе къ дѣйствительному дѣлу, чего вовсе не было въ головѣ бли- стательныхъ, великосвѣтскихъ героевъ Тургенева. Вся суть ихъ жизни заключалась въ вѣчномъ желаніи рисоваться и щеголять красивыми словами. И политико-экономическая статья Муффеля была точно такъ же не больше, какъ желаніе порисоваться въ велико- свѣтскомъ дамскомъ салонѣ.

Какъ относился самъ Рудинъ къ занятіямъ наукою баронессъ Муффелей, видно изъ діалога между ними и Ингасовымъ во II главѣ.

— «Господинъ баронъ Муффель,—спросилъ Ингасовъ,—спе- ціально занимается политической экономіей, или только такъ, посвящаетъ этой интересной наукѣ часы досуга, остающагося среди свѣтскихъ удовольствій и занятій по службѣ?

Рудинъ пристально посмотрѣлъ на Ингасова.

— Баронъ въ этомъ дѣлѣ дилетантъ, ---отвѣтилъ онъ, слегка краснѣя, —но въ его статьѣ много справедливого и любопытнаго».

IV. *Проживающій въ Одессѣ благопотребный старецъ Роксо- ланъ Медіаровичъ Кеандрыка.*—Больше имя Кеандрыки въ романѣ не упоминается. Нынѣшнему читателю это имя, съ эпитетомъ «бла- гопотребный старецъ», ничего не говоритъ. Но Тургеневъ, пови- димому, полагалъ, что нѣкоторымъ изъ его современниковъ это имя, съ приведеннымъ эпитетомъ, кое-что скажетъ.

Кого же онъ могъ имѣть въ виду подъ именемъ Кеандрыки?

Романъ «Рудинъ» былъ написанъ въ 1855 году. За годъ до того, 13 іюня 1854 года, скончался когда-то участникъ Вѣнскаго кон- гресса, дѣятель царствованія императора Александра I, вооружив- шійся противъ европейскаго просвѣщенія, центрами котораго были тогда германскіе университеты, религіозно-правственный писа- тель, молдаванинъ по происхожденію, Александръ Скарлатовичъ Стурдза.

Значительную часть жизни Стурдза прожилъ въ Одессѣ, гдѣ писалъ и издавалъ такія сочиненія, какъ «Вѣра и вѣдѣніе, или разсужденіе о необходимомъ согласіи между богооткровенной религіей и наукой въ дѣлѣ преподаванія въ народныхъ школахъ», «Очеркъ христіанской жизни и смерти», Письма о должностяхъ священнаго сана, «Ручная книга православнаго христіанина» и проч.

Извѣщенія о смерти Стурдзы появились въ «Москвитиниѣ» Погодина и «Сѣверной Пчелѣ». Первый писалъ: «Изъ Одессы со- общаютъ о кончинѣ одного изъ тамошнихъ почтительныхъ со- гражданъ знаменитаго въ Европѣ (за исключеніемъ редакціи ве-

петербургских журналов) своими литературными трудами А. С. Стурдзы». («Москвитянинъ», 1854, т. IV, отд. V, стр. 144). Въ слѣдующемъ году журналъ снова напомнилъ о Стурдзѣ, перепечатавъ изъ «Одесскаго Вѣстника» «Краткое свѣдѣніе о жизни и трудахъ А. С. Стурдзы» («Москв.» 55 г., т. I, № 4). Статья эта написана слащаво-умилительнымъ слоюмъ, отзывающимся вліяніемъ схоластическаго семинарскаго языка: «Въ 1806 году *благовоспитанный юноша* Александръ Стурдза поступилъ на службу ...»—«Кстати и *благопринципно* здѣсь привесть одинъ примѣръ тогдашняго его мышленія...»—*Старецъ* признавался дочери: «Ахъ, на закатѣ жизни трудно человеческому уму обитать въ разнородныхъ тѣлахъ! И, однакоже, вѣчно юный умъ и соображеніе *старца* тешились и сіяли въ дряхлующемъ тѣлѣ». Врядъ ли не подъ вліяніемъ этой статьи съ ея извитіями словесъ, въ родѣ подчеркнутаго, у Тургенева явился эпитетъ «*благопоотребный старецъ*». Указаніе на мѣсто жительства Кеандрыки въ Одессѣ является біографическою чертою для Стурдзы.

«Благопоотребный старецъ» Кеандрыка былъ для Тургенева предметомъ насмѣшки. Но упоминаніе о немъ въ «Рудинѣ» отражаетъ не только отношеніе къ Стурдзѣ автора, но вообще тогдашнихъ литературныхъ круговъ не консервативнаго направленія, т.-е. тѣхъ редакцій петербургскихъ журналовъ, о которыхъ бросаетъ замѣчаніе Погодинъ. Тургеневъ діалогомъ Панделевскаго и Липиной хотѣлъ сказать, что такихъ дѣятелей, какъ Стурдза, въ противоположность утвержденію «Москвитянина», въ Россіи не знаютъ: Липина и «не слыхивала» его имени. Кромѣ того, упоминаніе о Кеандрыкѣ-Стурдзѣ имѣетъ художественное значеніе для освѣщенія личности главнаго героя романа. Рудинъ, говорящій передъ Ласунской «о значеніи просвѣщенія и науки, объ университетахъ и жизни университетскою вообще», изощряется въ краснорѣчій на эти темы передъ лицомъ, принадлежащимъ къ кругу Стурдзы, который за свое сочиненіе, направленное противъ германскихъ университетовъ, въ 1818 году былъ даже вызванъ на дуэль студентомъ графомъ Вухгольцемъ. Но Рудинъ такъ далекъ отъ дѣйствительности, что не разбирается во всемъ этомъ.

Г Л А В А II

V. *Домъ Дарьи Михайловны Ласунской... сооруженный по рисункамъ Растрелли во вкусъ прошедшаго столѣтія.*—Архитекторъ, итальянецъ по происхожденію, графъ Растрелли работалъ въ Россіи въ XVIII вѣкѣ (умеръ въ 1771 году). Ему принадлежитъ проектъ самаго большаго и величественнаго Зимняго Дворца въ Петроградѣ. Въ литературныхъ описаніяхъ имя Растрелли служитъ для указанія художественной старины зданій, напр. у Мельникова-Печерскаго въ повѣсткѣ «Старые годы»: «По ту сторону Заборья высятся на горѣ палаты князей Заборовскихъ. Величествен-

ный дворецъ, строенный въ прошломъ столѣтіи по плану Растрелли, угрюмо смотритъ на новую, развившуюся подъ его ногами дѣятельность».

VI. *«Салонъ уже начался»*. — Салоны — явленіе преимущественно французской общественной жизни XVIII и XIX вѣковъ. Салонъ, это — кружокъ лицъ, собиравшихся въ домѣ какой-либо дамы, выделявшихся умомъ и красотою. Такъ какъ во Франціи въ салоны входили писатели и политическіе дѣятели, то они пріобрѣли большое вліяніе на литературную и политическую жизнь. Въ нашей литературѣ изображеніе французской салонной жизни находимъ въ «Письмахъ русскаго путешественника Карамзина. Будущи въ Парижѣ, П. М. Карамзинъ посѣтитъ салонъ госпожи Гюо***, «ученой дамы», которая «любитъ обходиться съ авторами»; собиравшіеся говорили, большею частью, о политикѣ. Какъ вообще проводили время въ салонахъ, объ этомъ Карамзину рассказываетъ аббатъ П*: «У маркизы Д* сбѣжались самыя модныя парижскія дамы, знатные люди, славнѣйшіе остроумцы; одни играли въ карты, другіе судили о житейской философій, о пѣвннхъ чувствахъ, пріятностяхъ, красотѣ, вкусѣ; по четвергамъ у графини А* собирались глубокомысленные политики обоаго пола, сравнивали Маблі (политическаго писателя) съ Ж. Жакомъ (Руссо); тамъ по субботахъ у баронессы Ф* читалъ М* примѣчанія свои на книгу Бюгя, извѣщая любопытнымъ женщинамъ свойство древняго хаоса и представляя его въ такомъ ужасномъ видѣ, что слушательницы падали въ обморокъ отъ великаго страха».

Въ первой четверти XIX столѣтія мода на салоны стала проникать и въ русское великосвѣтское общество. Изображеніемъ петербургскаго салона фрейлины Анны Павловны Шереръ начинается романъ гр. М. П. Толстого «Война и миръ». Есть картина Мясоедова, изображающая салонъ княгини Зинаиды Волконской: роскошный залъ съ колоннами; за столомъ хозяйка салона; тутъ же Хомяковъ, Жуковскій, Пушкинъ, Боратынскій, князь Вяземскій и другіе. Польскій поэтъ Мицкевичъ читаетъ свои стихи.

Въ примѣненіи къ собранію въ домѣ Ласунской, состоящему, за исключеніемъ Пигасова, только изъ обитателей дома, Тургеневъ употребляетъ слово *салонъ* въ пролическомъ смыслѣ, отмѣчая комическую сторону въ характерѣ Ласунской, желающей походить на французскихъ дамъ, дѣятельныхъ салоновъ, хотя въ ея деревенскомъ салонѣ совѣмъ нѣтъ людей, которые могли бы поддерживать уметвенное настроеніе. Этимъ объясняется, почему она рѣшила «пригласить» незнакомаго ей Рудина: онъ очень подходилъ для этой цѣли.

VII. *Разсказъ Пигасова о помѣщицѣ Еленѣ Антоновнѣ Чепузовой*. — Когда Ласунская не повѣрила тому, что Пигасовъ толкнулъ въ бокъ полкомъ «замѣчательно неестественную барышню», между ними произошелъ слѣдующій діалогъ:

— После этого, — сказалъ Пигасовъ, — вы, пожалуй, также не повѣрите, что наша сосѣдка Чепузова, Елена Антоновна, сама,

замѣтите, сама мнѣ разсказала, какъ она уморила своего родного племянника?

- Вотъ еще выдумали!

- Позвольте, позвольте! Выслушайте и судите сами. Забудьте, я на нее клеветать не желаю, я ее даже люблю, насколько, т.-е., можно любить женщину; у ней во всемъ домѣ нѣтъ ни одной книги, кромѣ календаря, и читать она не можетъ иначе, какъ вслухъ. Чувствуетъ отъ этого упражненія неарину и жалуется потомъ, что у нея глаза нукомъ полѣзли... Словомъ, женщина она хорошая, и торичицы у ней толстыя. Забѣмъ мнѣ на нее клеветать?

— Ну,—замѣтила Дарья Михайловна, —изобразилъ Африканъ Семенычъ на своего конька — теперь не слѣзаетъ съ него до вечера.

Послѣ этого замѣчанія Писасовъ начинаетъ говорить вообще о женщинахъ, какъ бы забывая про свое намѣреніе разсказать о Чепузовой и ея племянникѣ. Такимъ образомъ, упоминаніе о нихъ имѣетъ въ себѣ что-то недоговоренное. Такъ оно и есть, потому что въ журнальной редакціи романа разсказъ о Чепузовой быть приведенъ полностью. Послѣ словъ: «Забѣмъ мнѣ на нее клеветать?» Писасовъ продолжаетъ: «Ну-съ, встрѣчаю я Чепузову, говорю ей: «Вашъ племянникъ, я слышалъ, скончался»; а она мнѣ: «скончался, батюшка Африканъ Семенычъ, скончался; и вообразите себѣ; говоритъ она, приходитъ ко мнѣ мой племянникъ и говоритъ: тетенька, говоритъ, я что-то нездоровъ. А у самого внутри такъ и переливается: бу, бу, бу, бу, бу, бу, бу, бу... у... у... у, бу, бу, бу... у... у... у... Онъ мнѣ говоритъ: животъ, тетенька, у меня болитъ, а я ему: врешь,—это у тебя пахъ болитъ! пахъ! пахъ! Онъ свое твердитъ, я ему: это у тебя пахъ! пахъ! пахъ! Лечи пахъ! Что же вы думаете вѣдь, не послушался и померъ. А замѣтите,—подхватилъ съ торжествующимъ лицомъ Писасовъ: вѣдь отъ холеры умеръ племянникъ, отъ холеры, а Чепузова: пахъ! пахъ!

- Что за пустяки! Что за пустяки! — твердила сквозь смѣхъ Дарья Михайловна.

- Да клянусь же вамъ честью, такъ и кричитъ: пахъ! пахъ! Оглушила даже, въ такой азартъ вошла. Словно перестрѣлка поднялась. Пахъ! пахъ! такъ пристала... насилу отвязалась.

Впослѣдствіи Тургеневъ выпустилъ это мѣсто подъ вліяніемъ замѣчанія С. Т. Аксакова, который писалъ ему 7 февраля 1856 года: «Какъ при вашемъ вкусѣ, такѣ и чувствѣ приличія могла написаться извѣстная страница (я разумью: бурчаніе въ животѣ), страница въ началѣ повѣсти. Воли ваша, а этому причиною цинизмъ петербургскаго общества» («Русское Обозрѣніе», 1894 г., XII, 578).

VIII. *Грибоѣдовскій стихъ, приводимый Дарьей Михайловною.*— «Ну, ты, батюшка, я вижу, несправимъ, хоть брось»,—возразила Дарья Михайловна, слегка некаякая Грибоѣдовскій стихъ.

У Грибоѣдова въ «Горѣ отъ ума» (IV, 8): «А ты, мой батюшка, неспѣлшиъ, хоть брось».

Искаженіе Ласуекою Грибоѣдовскаго стиха имѣть для ея характеристики то же значеніе, что и ея неудачная попытка, въ IV главѣ, въ разговорѣ съ Рудинымъ, привести русскую пословицу: «Съ больной... какъ это говорится... съ больного на здороваго». Дарья Михайловна хочетъ порисоваться тѣмъ, что она знаетъ русскую литературу и народную рѣчь, но ни въ той, ни въ другой она несколько не свѣдуща. Въ той же IV главѣ Тургеневъ говоритъ о Ласуекой: «Дарья Михайловна изъяснилась по-русски. Она изоголила знаніемъ родного языка, хоти галлицизмы, французскія словечки понадалась у ней частенько. Она съ памѣтніемъ употребляла простые народные обороты, но не всегда удачно. Ухо Рудина не оскорблялось странной пестротой рѣчи на устахъ Дарьи Михайловны, да и врядъ ли имѣлъ онъ на это ухо».

Все это—черты отчужденности общества Муффелей, Ласуекихъ и Рудина—отъ русской національной стихіи, противъ чего въ XII главѣ протестуетъ Лежневъ.

IX. *Писемъ Писасова надъ малорусскимъ языкомъ и литературою.*— «Если бы у меня были лишніи деньги, я бы сейчасъ сдѣлался малороссійскимъ поэтомъ,—сказалъ Писасовъ.

— Это что еще? Хоронь поэтъ!—возразила Дарья Михайловна: развѣ вы знаете по-малороссійски?

— Нимало; да оно и ненужно.

— Какъ ненужно?

— Да такъ же, ненужно. Стоитъ только взять листъ бумаги и написать наверху: «Дума»; потомъ начать такъ: «гой, ты доля моя, доля!» или: «сѣде казачино Наливайко на курганѣ», а тамъ: «по-нидъ горою, по-нидъ зеленою, грае, грае, воропае, гоць! гоць!» или что-нибудь въ этомъ родѣ. И дѣло въ шляпѣ. Печатай и издавай. Малороссъ прочтетъ, подопретъ рукою щеку и непременно заплачетъ,—такая чувствительная душа!

— Помилуйте!—воскликнулъ Басистовъ.—Что вы это такое говорите? Это ни съ чѣмъ несообразно. Я жилъ въ Малороссіи, люблю ее и языкъ ея знаю... «грае, грае воропае»—совершенная безехыслица.

— Можетъ-быть, а хохоть все-таки заплачетъ. Вы говорите: языкъ... Да развѣ существуетъ малороссійскій языкъ? Я попросилъ разъ одного хохла перевести слѣдующую, первую понавшуюся мнѣ фразу: «грамматика есть искусство правильно читать и писать». Знаете, какъ онъ это перевелъ: «грамматыка е выкусьство правильно чытаты и пысаты...» Что жь, это языкъ, по-вашему? Самостоятельный языкъ? Да скорѣй, чѣмъ съ этимъ согласиться, я готовъ позволить лучшаго своего друга истолочь въ ступѣ...»

Въ словахъ Писасова, можетъ-быть, сказалось насмѣшливо-скептическое отношеніе самого Тургенева къ малорусской литературѣ. Вѣроитность такого предположенія подтверждается письмомъ Тургенева къ извѣстной малорусской писательницѣ Маріи Александровнѣ Марковичъ (псевдонимъ Марко Вовчокъ) отъ 22 мая 1861 года, по поводу издававшагося Бѣлозерскимъ и

Купишемъ журнала «Основа», посвященнаго малорусской исторіи и литературѣ и печатающагося наполовину по-малорусски, наполовину на литературномъ русскомъ языкѣ. — Мнѣ дали, — писалъ Тургеневъ, — четыре номера «Основы», изъ которыхъ я могъ заключить, что выше малороссійскаго племени нѣтъ ничего въ мірѣ и что въ особенности мы, великороссы, дрянъ и ничтожество. А мы, великороссы, поглаживаемъ себѣ бороду, поемъ бинаемся и думаемъ: пускай дѣти потыкаются, пока еще молоды. Вырастутъ — подумаютъ. А теперь они еще отъ собственныхъ словъ пьянѣютъ. И журналы у нихъ на такой славной бумагѣ — и Шевченко такой воликии поэтъ... Тыньтесь, тыньтесь, малыя дѣти». («Минувшіе годы», 1908, VIII, 91.)

Г Л А В А III.

Х. *Нападки Пугасова на общія разсужденія.* — «Всѣ эти, — говоритъ Пугасовъ, — такъ называемыя, общія разсужденія, гипотезы тамъ, системы... извините меня... никуда не годятся. Это все одно умствование — этихъ только людей морочить. Передавайте, господа, факты, и будетъ съ вастъ... Смерть моя, эти общія разсужденія, обзорѣнія, заключенія. Все это основано на такъ называемыхъ убѣжденіяхъ; всякій толкуеть о своихъ убѣжденіяхъ, и еще уваженія къ нимъ требуетъ, носится съ ними...»

Философско-идеалистическое направленіе молодыхъ представителей русскаго общества 30-хъ годовъ, разсуждавшихъ не иначе, какъ съ точки зрѣнія метафизическихъ началъ, находилъ въ нѣкоторыхъ кругахъ общества отрицательное отношеніе. Такъ, проф. Московскаго университета С. И. Шварцевъ въ письмѣ къ Н. В. Гоголю несочувственно отзывался объ увлеченіяхъ подобныхъ направленіемъ мысли Константина Сергѣевича Аксакова, одного изъ главныхъ представителей славянофильства: «Историческіе взгляды (его) и взгляды на народную жизнь и жизнь всемія живые, свѣтлые, новые. Но Гоголь подпустилъ дыму, иногда и въ смыслъ, а всего болѣе въ слогъ. Что дѣлать? Я люблю душою Константина, несмотря на всѣ его увлеченія. Все въ немъ течетъ изъ такого чистаго, прекраснаго источника: душа сильная и благородная. Но фантазія преобладаетъ въ немъ иногда и увлекаетъ его туда, куда не слѣдуетъ. Тѣмъ онъ вредитъ и претрасняетъ своимъ мыслямъ... Его дѣло было бы изучать народный бытъ, языкъ, жизнь, преданія, пословицы. Но Гоголь до сихъ поръ всему мѣшаетъ. Нѣмцы напустили такого туману въ эту славную русскую голову, что она до сихъ поръ отъ этого болитъ». (Отчетъ «Имп. Публ. Библ.» 1893 г.) Такъ же относился къ философскимъ увлеченіямъ Константина Аксакова другой проф. того же университета историкъ М. П. Погодинъ: «Непріятнѣйшія извѣстія о К. Аксаковѣ, — записываетъ онъ въ своемъ дневникѣ 30-хъ годовъ. — Новое направленіе. Толкують о философіи. Дѣйствительно, можетъ причинить вредъ». (Барсуковъ, «Жизнь и труды Погодина», IV, 307). Такъ про

сбѣ или другъ другу измѣнялись на философское направленіе друзья молодыхъ идеалистовъ. Литературные же и общественные враги сдѣлали это направленіе предметомъ открытыхъ нападокъ и насмѣшекъ. Особенно выдѣлялся въ этомъ отношеніи незаурядный писатель, издатель «Библиотеки для Чтенія», О. Н. Сенковскій, славившійся въ свое время подъ чуждымъ именемъ барона Брамбеуса. — «Неистощимое, — говоритъ по этому поводу П. В. Анненковъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ» — часто дѣлающее и почти всегда бѣдкое остроуміе Сенковскаго, гламуничагося надъ русской quasi-наукой, старалось, вмѣстѣ съ тѣмъ, удалить всякую серьезную попытку къ самостоятельному труду и отравить насмѣшкой источники, къ которымъ трудъ этотъ могъ бы обратиться». Нападки на философскія стремленія сдѣлались въ кругу такихъ журналистовъ консервативно-охранительнаго направленія, какъ Сенковскій, Олѣдей Булгаринъ, В. И. Гречъ, своего рода знаменемъ. Поэтому, когда П. А. Полевой, спасая свое существованіе послѣ закрытія издаваемаго имъ журнала «Московскій Телеграфъ» за статью, показавшуюся непатріотическою, сталъ писать въ «Сынѣ Отечества» Греча, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ перешелъ на сторону враговъ философскаго движенія въ Россіи, — говоритъ Анненковъ... Отзываясь теперь презрительно и насмѣшливо о молодыхъ попыткахъ отыскать какія-то особенныя начала для жизни и мысли, безъ справки съ опытомъ и условіями времени, Полевой думалъ сдѣлаться необходимымъ человекомъ въ томъ кругу людей и понятій, къ которымъ примкнулъ послѣ паденія «Московского Телеграфа».

Философское направленіе становится предметомъ комическаго изображенія также на страницахъ бодячистическихъ произведеній. Такъ, романистъ К. Масальскій въ повѣсти «Донъ-Кихотъ» изображалъ помѣщика Левкоева, увлекавшагося философіей, какъ герой Сервантеса рыцарскими подвигами: «Едва рѣчь, даже суетка и мимоходомъ, касалась философій, какъ въ головахъ его возставалъ хаосъ, въ которомъ все отвлеченныя выраженія новѣйшихъ философовъ: дуализмъ, идеализмъ! идеотизмъ, трансцендентализмъ, макрокосмъ, микрокосмъ, потенцъ, индивидуальность, реальность, объективность, субъективность и прочая, безпорядочно летали и кружили, какъ хлопья сѣнга во время сильной вьюги». За это Левкоева собираются помѣстить въ домъ сумасшедшихъ. Въ другой повѣсти В. А. Ушакова «Нюша», совершенно прозрачно выводится Вѣлискій, подъ именемъ Висеяши, что представляетъ комическую передѣлку имени критика Виссарионъ. Этотъ Висеяша, судилъ и рядилъ о Фихте и Гегелѣ и былъ такъ убѣжденъ въ тождествѣ міровъ идеальнаго и реальнаго, что смѣло называлъ презрѣливыми невѣждами тѣхъ, которые не понимали знаменитаго тождества. Въ особенности нѣбывался Висеяша Шеллинговымъ я». Онъ получалъ деньги «изъ московскихъ журналовъ за трансцендентальную и верхоглядную критику, т. е. за то, что людьми порядочными называется бранью въ печати».

Такимъ образомъ, въ обществѣ 30-хъ годовъ намѣчается въ нѣкоторыхъ кругахъ оппозиція философскому направленію. Художественнымъ выраженіемъ этого въ романѣ «Рудинъ» и является озлобленный Пигасовъ, нападающій на убѣжденія.

XI. *Токвиль*. «Читали ли вы эту книгу? C'est de Tocqueville, vous-avez?»

И Дарья Михайловна протянула Рудину французскую брошюру.

Рудинъ взялъ тоненькую книжонку въ руки, перевернулъ въ ней нѣсколько страницъ и, положивъ ее обратно на столъ, отвѣчалъ, что собственно этого сочиненія г-на Токвиля онъ не читалъ, но часто размышлялъ о затронутомъ имъ вопросѣ. Разговоръ завязался».

Токвиль—французскій политическій дѣятель и писатель первой половины XIX в. Показывая его брошюру Рудину, Масунская тѣмъ самымъ давала понять, что она серьезная женщина, и, вѣсть съ тѣмъ, это было средствомъ возбудить серьезный разговоръ, котораго такъ недоставало для ея салона.

XII. *Рудинъ—путешествующій принцъ*. «Рудинъ подошелъ къ Натальѣ. Она встала: лицо ея выразило замѣшательство. Волынецъ, сидѣвшій подлѣ нея, тоже всталъ. — «Я вижу фортепиано, началъ Рудинъ мягко и ласково, какъ путешествующій принцъ:— не вы ли играете на немъ?»

Этимъ мѣстомъ, какъ доказательствомъ отрицательнаго отношенія къ Рудину самого автора, пользуется проф. Н. Н. Ивановъ въ книгѣ «Н. С. Тургеневъ. Жизнь, личность, творчество»:—«На его взглядъ, —говоритъ о Тургеневѣ г. Ивановъ,—герой комиченъ съ самаго начала. «Я вижу фортепиано, началъ Рудинъ мягко и ласково, какъ путешествующій принцъ...», и вы чувствуете, —такое заключеніе можно сдѣлать объ артистѣ, только что вызвавшемъ эффектъ. Для него вполне привычный и интересный лишь по чужимъ впечатлѣніямъ. Онъ блистательно исполнилъ свою роль и хочетъ отдохнуть на игрѣ другихъ. Подобное настроеніе врядъ ли доступно человѣку, минутой раньше съ такой горячностью разрѣшавшему міровые вопросы, врядъ ли доступно, при одномъ условіи, если самые вопросы хватаютъ его за сердце, тѣсно срослись съ его нравственной природой. И какъ естественнымъ является замѣчаніе—такое авторское—о впечатлѣніи m-lle Boncourt: Рудинъ въ ея глазахъ былъ чѣмъ-то въ родѣ виртуоза или артиста». Невольно спрашивается: «зачѣмъ авторъ считъ необходимымъ сообщить намъ, что думаетъ объ его героѣ существо совершенно безличное и не играющее въ романѣ никакой роли?»

Г Л А В А IV.

XIII. *Madame Récamier*.—«Дарья Михайловна содѣлалась просто, по изянцію, à la madame Récamier!»

Жанна Рекамье (1777—1849 г.) была душою одного изъ самыхъ знаменитыхъ парижскихъ салоновъ 30—40 гг. XIX вѣка. Она отли-

чалась необыкновенной красотой и о впечатлѣніи, которое она производила, говорить слѣдующій случай. Въ 1797 году, во времена директоріи, когда Наполеонъ Бонапартъ возвратился изъ Италіи, въ честь его былъ устроенъ торжественный праздникъ въ залахъ Люксембургскаго дворца. Во время рѣчи одного изъ членовъ правительства, обращенной къ Бонапарту, присутствовавшая на торжествѣ Рекамье, чтобы лучше видѣть послѣдняго, приподнялась со своего мѣста, — и публича, забывъ о виновникѣ торжества, восхищенная красотой Рекамье, стала смотрѣть только на нее и даже вполголоса выражать свое удивленіе, чѣмъ вызвала недовольство Бонапарта. Въ ея салонѣ постоянными собесѣдниками были такія литературныя знаменитости, какъ Ламартино и Шатобріанъ. Съ послѣднимъ Рекамье была въ очень тѣсной дружбѣ, и, когда онъ умеръ, ея жизнь какъ будто изсыкла: Рекамье пережила Шатобріана только однимъ годомъ.

Одною изъ отличительныхъ особенностей Рекамье была любовь къ пышнымъ нарядамъ и дорогимъ украшеніямъ. Обычно она носила простое, но изящное бѣлое платье, и только на шеѣ у нея было ожерелье.

Ласунская, воображавшая себя такою же знаменитостью, какъ дѣятельницы извѣстныхъ французскихъ салоновъ, стремилась походить въ данномъ случаѣ на одну изъ наиболѣе знаменитыхъ въ Парижѣ салонныхъ дамъ.

XIV. *Canning — Каннингъ*. — «Вонъ дворецкій, челоѣкъ въ высокаго роста, сѣдой и плѣшивый, въ черномъ фракѣ, бѣлымъ галстукѣ и бѣлымъ жилетѣ. — «Что ты? — спросила Дарья Михайловна и, слегка обратясь къ Рудину, прибавила вполголоса: — *ce n'est ce pas, comme il ressemble à Canning?*»

Въ исторіи политической жизни Англіи извѣстно два Каннинга: одинъ Джорджъ (ум. 1827 г.), другой — сынъ перваго Чарльзъ-Джонъ, современникъ героевъ романа «Рудинъ». Указывая на сходство дворецкаго съ однимъ изъ англійскихъ политическихъ дѣятелей, Ласунская подчеркиваетъ свое знаніе Европы.

Г Л А В А V

XV. «*Поэзія — языкъ боговъ*». — Называя поэзію языкомъ боговъ, Рудинъ повторяетъ идеи романтической эстетики. Романтики высоко ставили идеаль поэзіи и искусства вообще. Шеллингъ далъ этой идеализаціи искусства философское обоснованіе въ сочиненіи «Система трансцендентальной философіи», проводя ту мысль, что художникъ творитъ, побуждаемый не какими-либо вѣшними причинами, а состояніемъ его собственной души. И изъ этой независимости искусства отъ вѣшнихъ причинъ и цѣлей вытекаетъ святость, божественность искусства.

XVI. *Самообличенія Рудина*. — «Онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно — о позорѣ малодушія и лжи, о необходимости дѣлать дѣло. Онъ осыпалъ самого себя упреками, доказывалъ,

что разсуждать напередъ о томъ, что хочешь сдѣлать, тамъ же вредно, какъ накалывать булавкой наливающіеся плоды, что это только напрасная трата силъ и соковъ».

По поводу самообличеній Рудина проф. Ивановъ говоритъ: «Рудинъ склоненъ сурово нападать на себя самого, но эти нападки такой же ораторскій турниръ, какъ и всѣ другія разсужденія краснорѣчиваго виртуоза. Для Рудина развѣчивать себя — не глубокая нравственная мука, а то же самоутѣжденіе, какое и испытывалъ Печоринъ, разсказывая княжкѣ Маріи всевозможные ужасы про себя и про свою жизнь. Это обычная уловка байронистствующихъ комедіантовъ, — окружить себя мрачнымъ отчаяннымъ ореоломъ самоотрицанія, чтобы вызвать сочувствіе въ отзывчивомъ огуменномъ сердцѣ женщины. Пріемъ, до тонкости извѣстный Печорину. Лермонтовскій герой, прочитавши предъ княжной Маріи «эпитафію» самому себѣ, замѣчаетъ: «Въ эту минуту я встрѣтилъ ее глаза: въ нихъ блистали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали, ей было жалъ меня! Состраданіе — чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, впустило свои корни въ ее неопытное сердце». Тотъ же расчетъ у Рудина. Рудинъ не ошибается. Бы съ перваго же появленія героя увѣрены: Наталья полюбитъ Рудина».

XVII. «О честности высокой говорить». — «Я увѣрена, — говоритъ Александра Павловна Лежневу, — что, кромѣ ума, у него (Рудина) и сердце должно быть отличное. Вы взгляните на его глаза, когда онъ... — О честности высокой говорить... — Подхватилъ Лежневъ».

Со стороны Лежнева это не просто цитата подвернувагося стиха изъ «Горе отъ ума» (IV, 4). Замысловатый смыслъ этого стиха въ приложеніи къ Рудину становится яснымъ, если припомнимъ, что это говоритъ Репетиловъ объ Удупьевѣ Николитѣ Маркелычѣ:

Ночной разбойникъ, дуэлистъ,
Въ Камчатку сосланъ былъ, вернулся алеутомъ,
И крѣпко на руку нечистъ;
Да умный человекъ не можетъ быть не плутомъ;
Когда жъ о честности высокой говорить,
Какимъ-то демономъ внушаемъ:
Глаза въ крови, лицо горитъ,
Самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ.

XVIII. *Синій чулокъ*. — Я встрѣтился съ Рудинымъ за границей. Тамъ къ нему одна барыня привязалась, изъ нашихъ русскихъ, синій чулокъ какой-то, ужъ не молодой и некрасивый, какъ оно и слѣдуетъ синему чулку».

«Синій чулокъ» — названіе, примѣнявшееся въ Россіи къ женщинамъ, желавшимъ казаться интересующимся исключительно вопросами науки и политики. Выраженіе это пошло изъ Англій, гдѣ въ XVIII столѣтіи такъ назывались мужчины и женщины, презиравшіе карточную игру и признававшіе только серьезные разговоры. Возникло оно потому; что главный поборникъ этого направленія въ обществѣ Штислиффилтъ носилъ синіе чулки.

ГЛАВА VI.

XIX. *Прошло два мѣсяца.* Въ теченіе всего этого времени Рудинъ почти не выѣзжалъ отъ Дарьи Михайловны.

По этому поводу проф. Орестъ Миллеръ замѣчаетъ: «Въ пылу очарованія даже Басистову студенту не приходится въ голову спросить: какъ это человѣкъ, пріѣхавшій случайно, съ мужими порученіями, записывается на нѣсколько мѣсяцевъ и только и дѣлаетъ, что ораторствуетъ?»

XX. *Отношеніе Рудина къ членамъ дома Ласунской.*— «Басистовъ продолжалъ благоговѣть передъ Рудинымъ и ловить на-лету каждое его слово. Рудинъ мало обращалъ на него вниманія. Какъ-то разъ онъ провелъ съ нимъ цѣлое утро, толковалъ съ нимъ о самыхъ важныхъ міровыхъ вопросахъ и задачахъ и возбудилъ въ немъ живѣйшій восторгъ; но потомъ онъ его бросилъ... Видно, онъ только на словахъ искалъ чистыхъ и преданныхъ душъ».—«Послѣ самой Дарьи Михайловны Рудинъ ни съ кѣмъ такъ часто и такъ долго не бесѣдовалъ, какъ съ Натальей».

Несмотря на полную опредѣленность словъ самого автора, что Рудинъ не искалъ «чистыхъ и преданныхъ душъ», т.-е. въ его отношеніяхъ къ своимъ слушателямъ не было ничего искренняго и идейнаго, критики старались подыскать различныя объясненія отношенію Рудина къ Дарьѣ Михайловнѣ и Басистову. Проф. О. Миллеръ говоритъ: «Рудинъ, очевидно, воображаетъ, что онъ дѣлаетъ дѣло: онъ привыкъ видѣть дѣло въ безплодномъ ораторствѣ, онъ успѣлъ уже на это убить/ значительную часть своей жизни. Онъ, очевидно, и изъ этой пустѣйшей Ласунской создаетъ себѣ, силой воображенія, такую почву, которая способна воспринимать обильное сѣмя его рѣчей, и такимъ образомъ разыгрывающееся воображеніе доставляетъ богатую пищу его самолюбію».

Предложеніе О. Миллера противорѣчитъ признанію самого Рудина, сдѣланному имъ въ этомъ при воспоминаніи о Ласунской: «Я зналъ въ душѣ, что изъ словъ моихъ ничего не выйдетъ».

По отношенію къ Басистову Рудину воображать ничего не приходилось, такъ какъ Басистовъ «ловилъ на-лету каждое его слово», отчего же Рудинъ «его бросилъ»?

Проф. Ивановъ разъясняетъ этотъ вопросъ иначе: «Артисту, — говоритъ онъ, — нужна самая впечатлительная и благодарная публика. А такая публика прежде всего женская, — Рудинъ ораторствуетъ, «вдохновленный близостью молодыхъ женщинъ», «увлеченный потокомъ собственныхъ ощущеній». Онъ часто бесѣдуетъ съ Натальей и удѣляетъ едва одно утро Басистову».

XXI. «Рудинъ, казалось, и не очень заботился о томъ, чтобы она (Наталья) его понимала—лишь бы слушала его».

Проф. Ивановъ объясняетъ это тѣмъ, что Рудинъ бесѣдуетъ съ Натальей «именно, какъ виртуозъ: ему важенъ эффектъ, а не идейное вліяніе рѣчей».

XXII. «Фаустъ» Гёте.—А. Н. Герценъ въ своихъ воспоминаніяхъ «Былое и думы», рассказывая про кружокъ московскихъ идеалистовъ 30-хъ годовъ, группировавшихся вокругъ Н. В. Станкевича, изображаемаго въ «Рудинѣ» подъ именемъ Покорскаго, говорить объ отношеніи членовъ этого кружка къ «Фаусту» Гёте. Знаніе Гёте, особенно второй части Фауста (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднѣе ей), было столько же обязательно, какъ имѣть платье».

XXIII. Гофманъ.—Гофманъ—одинъ изъ виднѣйшихъ нѣмецкихъ романтиковъ конца XVIII и начала XIX вѣка. Отличительною чертою его творчества является тѣсное сплетеніе дѣйствительнаго и чудеснаго, производящее на читателя жуткое впечатлѣніе. Его произведенія: «Котъ-Мурръ», «Эликсиръ Сатаны», «Серапіоновы братья» и др. Фантастическое творчество Гофмана оказало вліяніе на нѣкоторыхъ русскихъ писателей. Его усматриваютъ въ творествѣ Гоголя, періода «Вечеровъ на хуторѣ» и «Петербургскихъ повѣстей», въ произведеніяхъ Антона Погорьѣльскаго (Перовскаго): «Двойникъ, или мои вечера въ Малороссіи», «Черная курица», въ произведеніи кн. В. О. Одоевскаго «Русскія ночи» и даже въ сочиненіяхъ О. М. Достоевскаго начального періода его литературной дѣятельности (напр., въ «Двойникѣ»).

Московскіе идеалисты 30-хъ годовъ, увлекавшіеся философіею Шеллинга, содержавшею цѣлое ученіе о духѣ художника, должны были особенно интересоваться Гофманомъ, какъ это показываютъ слѣдующія слова Герцена: «Хотите ли вы знать, что такое душа художника, насколько она отдѣлена отъ души обыкновеннаго человѣка, души съ запахомъ земли, души, въ которой запачкано божественное начало? Хотите ли взойти во внутренность ея, въ этотъ храмъ идеала, къ которому рвется художникъ и котораго никогда во всей чистотѣ не можетъ исторгнуть изъ души своей? Хотите ли видѣть, какъ бурны его страсти, слѣдовать за нимъ? Читайте Гофмановы повѣсти: онѣ вамъ представляютъ самое полное развитіе жизни художника во всѣхъ фазахъ ея» («Знаменитые современники. Гофманъ»).

XXIV. Письма Беттины.—Переписка Гёте съ ребенкомъ, Беттиной фонъ Арнимъ, выпущенная въ 1835 г., считается одною изъ лучшихъ книгъ нѣмецкой романтики. Беттина фонъ Арнимъ, будучи 22-лѣтнею дѣвушкою, влюбилась въ 60-лѣтняго Гёте и начала съ нимъ переписку, которую опубликовала подъ вышеприведеннымъ заглавіемъ.

Тургеневъ былъ лично знакомъ съ Беттиною, встрѣчаясь съ нею, въ бытность студентомъ Берлинскаго университета, въ русской семьѣ Фроловыхъ.

XXV. Новалисъ.—Фридрихъ Гарденбергъ, извѣстный подъ литературнымъ именемъ Новалиса,—одинъ изъ типичнѣйшихъ нѣмецкихъ романтиковъ XVIII вѣка. Наибольшею извѣстностью пользуются его «Гизины ночи», полныя грустныхъ чувствъ, вызванныхъ смертью четырнадцатилѣтней невѣсты автора, и неоконченный

романъ «Генрихъ фонъ Офтердингенъ», въ которомъ возводится въ апофеозъ поэтическая фантазія. Въ нѣмецкой романтической литературѣ Новалисъ—первый писатель, у котораго сказалась поэтическая идеализація средневѣковья и особенно католицизма (въ статьѣ «Христіанство или Европа»); онъ былъ ненавистникъ лютеранства.

XXVI. *Германская поэзія.*—«Рудинъ былъ весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій и увлекалъ ее (Наталью) за собой въ тѣ заповѣдныя страны. Неизъяснимыя, прекрасныя, раскрывались онъ передъ ея внимательнымъ взоромъ; со страницъ книги, которую Рудинъ держалъ въ рукахъ, дивныя образы, новыя, свѣтлыя мысли такъ и лились звенящими струями ей въ душу и въ сердце ея, потрясенномъ благодарной радостью великихъ ощущеній, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга...»

О сильномъ вліяніи нѣмецкой романтической литературы на идеалистически настроенную молодежь 30-хъ годовъ свидѣтельствуеъ П. В. Анненковъ: «Теперь (писано въ 1856—7 гг.) трудно и повѣрить, сколько обновляющихъ и исправительныхъ началъ принесла нѣмецкая поэзія молодымъ людямъ 30-хъ годовъ, когда открылось у насъ дѣйтельное сближеніе съ нею. Мечты юности были здѣсь воспитателями сердца и души, любой поэтическій образъ—нравственнымъ представленіемъ, вдохновенный афоризмъ—обязательнымъ правиломъ для жизни. Пламенный стихъ Шиллера и Гёте хранился какъ орудіе на борьбу съ своими и чужими эгоистическими страстями и передавался такъ другимъ. Поэма, романъ, трагедія и лирическое произведение служили кодексомъ для разумнаго устройства своего внутренняго міра. Безъ преувеличенія можно сказать въ отношеніи къ Станкевичу (см. дальше) и его кругу, что поэзія сдѣлалась учительницей ихъ, тѣмъ, чѣмъ она была съ перваго появленія своего на свѣтъ».

Таково было нравственное вліяніе нѣмецкой литературы. Не менѣе велико было также ея вліяніе на развитіе ума.—«Въ произведеніяхъ этой литературы,—продолжаетъ Анненковъ,—свободная фантазія нѣвца безпрестанно касается философскихъ положеній, часто даже и зарождается она въ области чистой мысли. Иногда также, по требованіямъ своей природы, она уступаетъ дорогу мысли и подъ конецъ въ ней пропадаетъ, какъ песчинка въ полномъ блескѣ солнца. Легко представить себѣ, какъ должны были дѣйствовать на молодой пытливый умъ безпрестанные намеки поэзіи, которую онъ изучалъ съ такою жадностью, и какъ пораженъ былъ онъ особеннымъ родомъ величія, заимствуемаго ею отъ непосредственнаго соучастія мысли...»

«Чѣмъ смѣлѣе выдавалась мысль изъ среды поэтическаго образа, тѣмъ напряженнѣе становился усилія отыскать ея полное значеніе и возвести до общаго положенія, которое могло бы сдѣлать ее независимую пояснительницею всѣхъ случаевъ жизни. Попытки эти обыкновенно выражались лирическимъ языкомъ, исполнен-

нымъ страстнаго увлеченія, и много было еще въ нихъ неопредѣленнаго, смутнаго и произвольнаго...

«Еще многіе помнятъ ту почти непрерывную цѣпь эстетическихъ потрясеній, которыя почерпалъ кругъ Станкевича ежедневно изъ свойствъ и сущности германскаго міросозерцанія, отраженнаго литературой народа. Общій характеръ, лежащій въ основаніи нѣмецкой поэзіи, постоянно держалъ людей этихъ среди одухотворенной, проясненной и возвышенной имъ природы. Въмѣсто одной скромной, студенческой жизни своей, они окружены были тысячею жизней, движеніемъ, такъ сказать, многообразныхъ существованій, казущихся мертвыми и бездурными простому глазу».

XXVII. Взглядъ Рудина на любовь.—Въ разговорѣ съ Натальей Рудинъ говоритъ: «Любовь! въ ней все тайна: какъ она приходитъ, какъ развивается, какъ исчезаетъ. То является она вдругъ, несомнѣнная, радостная какъ день, то долго тѣлѣтъ, какъ огонь подъ золой, и пробивается пламенемъ въ душѣ, когда уже все разрушено; то вползаетъ она въ сердце какъ змѣя, то вдругъ выскальзываетъ изъ него вонъ... Да, да, это вопросъ важный. Да и кто любить въ наше время, кто дерзнетъ любить?»

Эти слова Рудина о любви показываютъ, что онъ придаетъ ей какой-то особенный, таинственный смыслъ. «Кто дерзнетъ любить?» спрашиваетъ Рудинъ, обнаруживая этимъ высокое, неземное по значенію любви. Такъ, дѣйствительно, смотрѣли на любовь московскіе идеалисты 30-хъ годовъ. Взгляды на этотъ предметъ одною изъ нихъ—Н. В. Станкевича—Н. П. Милюковъ («Изъ исторіи русской интеллигенціи», 1902 г.) излагаетъ въ такомъ видѣ: «Любовь—это слово, кажется, чаще какого-либо другого упоминается въ письмахъ Станкевича до середины 30-хъ годовъ. Но далеко не всегда оно имѣетъ у него свой обыкновенный смыслъ. Любовь для Станкевича—это прежде всего міровая сила, давшая жизнь міру и всему, что въ немъ живо. Въ человѣкѣ любовь—это высшій и лучшій способъ чувствовать свое единство съ міромъ; въ то же время это и высшее проявленіе преимущества человѣка, какъ существа сознательнаго, надъ остальными частями мірозданія. Культивируя въ себѣ *человѣческое*, т.-е. то, что возвышаетъ человѣка надъ вселенной, мы исполняемъ высочайшую задачу, возложенную на насъ Провидѣніемъ. А это *человѣческое* заключается въ любви, дружбѣ и искусствѣ» (Статья: «Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ»).

XXVIII. Печоринство въ характеръ Рудина. «Рудинъ прошелся по комнатѣ.—Замѣтили ли вы,—заговорилъ онъ, круто повернувшись на каблукахъ,—что на дубѣ—а дубъ крѣпкое дерево—старые листья только тогда опадаютъ, когда молодые начнутъ пробиваться?—Да,—медленно возразилъ Наталья,—замѣтила.—Точно то же случается и со старой любовью въ сильномъ сердцѣ: она уже вымерла, но все еще держится; только другая, новая любовь можетъ ее выжить.—Наталья ничего не отвѣтила. «Что это значитъ?» подумала она. Рудинъ постоялъ, встряхнулъ волосами и удалился.

А Наталья пошла къ себѣ въ комнату. Долго сидѣла она въ недоумѣніи на своей кровати, долго размышляла о послѣднихъ словахъ Рудина и вдругъ сжала руки и горько заплакала».

К. С. Аксаковъ въ письмѣ къ Тургеневу, говоря о Рудинѣ, обмолвился о Печоринѣ: «Быть десять тому назадъ, — писалъ онъ, — вы бы изобразили Рудина совершеннымъ героемъ. Нужна была зрѣлость созерцанія для того, чтобы видѣть пошлость рядомъ съ необыкновенностью, дрянность рядомъ съ достоинствомъ, какъ въ Рудинѣ. Вывести Рудина было очень трудно, и вы эту трудность побѣдили... Теперь вы Печорина, конечно, выставили бы не героемъ».

Проф. Ивановъ подробно развиваетъ это сопоставленіе Рудина съ Печоринымъ по поводу разговора Тургеневскаго героя съ Натальею о старой любви.

«Аксаковъ бросилъ будто случайно намекъ на Печорина: на самомъ дѣлѣ, воспоминанія о печоринствѣ преслѣдуютъ насъ на каждой страницѣ рудинской исторіи.

Припомните одинъ изъ многочисленныхъ разговоровъ Рудина съ Натальею о любви. Рудинъ говоритъ особенно часто объ этомъ предметѣ, онъ намѣренъ даже писать трактатъ о трагическомъ значеніи любви. Почему именно о трагическомъ? Отнюдь не потому, что самъ авторъ испыталъ или вообще способенъ испытать любовную трагедію, а потому, что трагедія несравненно эффектнѣе, романтичнѣе, чѣмъ обыкновенная, общечеловѣческая психологія любви. Рудинъ немедленно создаетъ картинную иллюстрацію.

(Приводится выписанная выше сцена).

«Что значитъ эта притча — Наталья не понимаетъ. Но пониманія и не требуется Рудину. Ему необходимо ослѣпить воображеніе и захватить чувство, и возможно больше театральнаго тумана.

«Конецъ сцены превосходенъ.

«Рудинъ постоялъ, встряхнулъ волосами, и удалился».

«Картина — прямо изъ опернаго либретто. И картина весьма старая, но неотразимая для Татьянъ, Марій, Наталій. Нужна тайна — и сердце дѣвушки неизбежно запутается въ сѣтяхъ. Такъ ведетъ себя Олѣгинъ среди деревенскихъ мечтательницъ. Печоринъ съ княжной Мери, «иринизъ глубоко тронутый видъ», рассказываетъ инсказательную исторію о томъ, какъ онъ отрѣзалъ одну мертвую половину своей души и бросилъ, «тогда какъ другая шевелилась»... Послѣдствія всеюди одинаковыя. Татьяна не спитъ ночей въ смутной мучительной тоскѣ, княжна Мери окончательно подавлена сладкимъ ужасомъ загорающей страсти, Наталья «долго размышляла о послѣднихъ словахъ Рудина и вдругъ сжала руки и горько заплакала».

«Въ основѣ столь могущественной таинственности лежатъ капля все того же яда — разочарованіе. Рудинъ щеголяетъ въ старомъ плащѣ російскихъ чайльд-гарольдовъ. Нарядъ сильно потертъ, но Рудинъ усѣбно обновляетъ маскарадъ приемами, не-

известными его предшественникамъ. Тѣ черпали репертуаръ загубленныхъ чувствъ и загадочныхъ рѣчей у Байрона и байронидовъ. Рудинъ пользуется германской философiей и поэзіей — совершенно противоположнаго духа, чѣмъ байронизмъ. Чайльдъ-Гарольды усиливались все отрицать и надо всѣмъ смѣяться: Рудинъ, напротивъ, зоветъ своихъ слушателей въ царство восторженной вѣры, вдохновенной мысли, всеобъемлющихъ идеаловъ. Но вѣдь нашъ бѣдный міръ такъ мало отвѣчаетъ поэтическимъ призывамъ и идеальнымъ стремленіямъ. Краснорѣчивымъ гегельянцамъ далеко не всегда приходится встрѣчать радостно-трепетную публику въ родѣ Наташи и Васистова, рѣдко рѣчи ихъ льются среди молчанія роскошной ночи, подъ шубертовскую музыку, — и гегельянство, слѣдовательно, прямымъ путемъ можетъ привести къ тоскѣ и «холоду сердечному».

XXIX. *Рудинъ—Тартюфъ.*—«По-вашему, Рудинъ—Тартюфъ какой-то,—говоритъ Липина Лежневу.—Въ томъ-то и дѣло, что онъ даже не Тартюфъ. Тартюфъ, тотъ, по крайней мѣрѣ, зналъ чего добивался,—отвѣчаетъ Лежневъ».

Тартюфъ, герой комедіи Мольера,—лицемѣръ на религиозно-нравственной почвѣ. Прикидываясь богомольнымъ, высоко-нравственнымъ и смиреннымъ человѣкомъ, Тартюфъ пріобрѣтаетъ довѣріе Оргона, поселяется въ его домѣ, распоряжается въ немъ, слѣдитъ за домашними, а самъ ухаживаетъ за женою Оргона и, наконецъ, завладѣваетъ его домомъ; дѣлаетъ на Оргона клеветническій доносъ и при помощи судебныхъ властей пытается выселить своего покровителя изъ его собственного дома.

Липина припоминаетъ Тартюфа, потому что Лежневъ раньше называлъ Рудина «актеромъ» и охарактеризовалъ его роль въ домѣ Ласунской такими словами: «Быть идоломъ, оракуломъ въ домѣ, вмѣшиваться въ распоряженія, въ семейныя сплетни и дрязги—неужели это достойно мужчины?»

XXX. *Покорскій.*—По поводу образа Покорскаго Тургеневъ говоритъ: «Когда я изображалъ Покорскаго, образъ Станкевича носился предо мною, но все это только блѣдный очеркъ» («Вѣстникъ Европы», 1899, январь).

Николай Владиміровичъ Станкевичъ родился въ 1813 г. въ Воронежской губ. въ семьѣ богатаго помѣщика. Учился въ Острогожскомъ уѣздномъ училищѣ, въ пансіонѣ въ Воронежѣ и Московскомъ университетѣ, гдѣ явился центромъ и дружка идеалистически настроенной молодежи, между которою были такія лица, какъ Вѣлискій и Конст. Аксаковъ. Больше всего въ это время Станкевича занимала философія. Вспоминая свои университетскіе годы, Станкевичъ писалъ одному изъ близкихъ пріятелей, Негѣрову: «Въ старые годы я ставилъ единое благо въ философiи—такъ и должно было думать. То была возрастъ непреодолимой жажды въ знанію, возрастъ вѣры въ силы ума и возрастъ сомнѣній въ старыхъ шаткихъ вѣрованіяхъ. Надо было дать пищу душѣ, надобно было смирить междоусобіе въ ея вѣдрахъ, надобно было запасть побужденіями къ дѣятель-

ности. Система сдѣнялась системою, но кругъ знаній расширялся, и высокіе предметы изслѣдованія поставили душу выше блага міра сего». Члены кружка при посредствѣ Станкевича пріобщались къ философскимъ интересамъ, что вліяло на ихъ образованіе и умственное развитіе. Вѣлинскій познакомился съ нѣмецкою философіею почти только черезъ Станкевича. По окончаніи университета Станкевичъ нѣкоторое время готовится къ магистерскому экзамену по исторіи, но оставляетъ это и занимаетъ должность почетнаго смотрителя Острогжскаго уѣзднаго училища. Въ 1835 году Станкевичъ возвращается въ Москву, гдѣ продолжаетъ занятія философіею; въ 1837 году уѣзжаетъ за границу, слушаетъ лекціи въ Берлинскомъ университетѣ, а въ 1840 году умираетъ въ Италіи отъ чахотки.

Значеніе Станкевича въ исторіи русской литературы и общественности основывается исключительно на умственномъ и моральномъ вліяніи, которое онъ имѣлъ на другихъ лицъ, явившихся крупными литературными дѣятелями.

Въ «Рудинѣ» Станкевичъ изображается историческими чертами.

Лежневъ рассказываетъ, что «Покорскій былъ на видѣ тихъ и мягокъ... Человѣкъ онъ былъ перваческій, нездоровый; зато, когда онъ расправлялъ свои крылья,—Боже! куда ни залеталъ онъ! въ самую глубь и лазурь неба!»

Анненковъ же говоритъ о Станкевичѣ, что онъ былъ человѣкъ «болѣзненный, тихій по характеру, поэтъ и мечтатель».

Характеризуя вліяніе Покорскаго, Лежневъ говоритъ, что ему «всѣ отдавались сами собою».

То же говоритъ Вѣлинскій о Станкевичѣ въ письмѣ къ Бакунину: «Станкевичъ никогда и ни на кого не налагалъ авторитета, а всегда и для всѣхъ былъ авторитетомъ, потому что всѣ добровольно и невольно признавали превосходство его натуры надъ своею». О томъ же свидѣлствуетъ Анненковъ: «Еще въ университетской аудиторіи онъ сталъ центромъ кружка товарищей, равныхъ ему по свѣдѣніямъ, но подчинившихся охотно (какъ способны только подчиняться люди въ молодые годы свои) вліянію свѣтлаго ума, благороднаго сердца и строгихъ нравственныхъ требованій. Станкевичъ дѣйствовалъ обаятельно всѣмъ своимъ существомъ на сверстниковъ: это былъ живой идеалъ правды и чести, который въ раннюю пору жизни страстно и неутомимо ищется молодостью, живо чувствующею свое призваніе».

Лежневъ указываетъ на то, что нравственное вліяніе Покорскаго на нѣкоторыхъ вносѣдствѣн было заглушено жизнью: «Охъ! слабое было время тогда, и не хочу я вѣрить, чтобы оно пропало даромъ! Да оно и не пропало,—не пропало даже для тѣхъ, которыхъ жизнь оплошала потомъ... Сколько разъ мнѣ случалось встрѣтить такихъ людей, прежнихъ товарищей! Кажется, совсѣмъ звѣремъ сталъ человѣкъ, а стоитъ только произнести при немъ имя Покорскаго—и всѣ остатки благородства въ немъ зашевелиятся, точно

ты въ грязной и темной комнатѣ раскупорилъ забытую стеклянку съ духами...»

Точно такъ же и Анненковъ отмѣчаетъ, что образъ мыслей и духъ Станкевича не сказывались впоследствии въ людяхъ, которые когда-то находились подъ его вліяніемъ: «Нельзя сказать,—говоритъ онъ,—чтобы все, прикасавшееся къ Станкевичу, оставалось навсегда подъ вліяніемъ его образа мыслей или было проникнуто духомъ его строгаго направленія: иные неспособны были вполнѣ усвоить примѣра его, у другихъ жизни и нерадѣніе заглушили благотворныя зерна; но какъ тѣ, такъ и другіе, при жизни Станкевича, были нравственно подняты имъ и были, хоть на мгновеніе, выше себя».

Объясняя причину вліянія Станкевича на окружающихъ, Тургеневъ пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «Станкевичъ оттого такъ дѣйствовалъ на другихъ, что самъ о себѣ не думалъ, истинно интересуясь каждымъ человекомъ, и, какъ бы самъ того не замѣчая, увлекалъ его вѣрѣ за собою въ область идеала. Фразы въ немъ слѣда не было. Невозможно передать словами, какое онъ внушалъ къ себѣ уваженіе, почти благоговѣніе».

Душевные черты Покорскаго отражаютъ личность Станкевича, но внѣшніе условія жизни послѣдняго были иныя, чѣмъ у Покорскаго. Станкевичъ былъ богатый человѣкъ, Тургеневъ для усиленія художественнаго впечатлѣнія идеальной личности Покорскаго изображаетъ его бѣднякомъ.

Тургеневъ познакомился со Станкевичемъ въ Берлинѣ въ 1839 году и особенно сблизился съ нимъ во время совместнаго пребыванія въ Римѣ въ 1840 году.

Смерть Станкевича вызвала глубоко-скорбное письмо Тургенева къ Т. Н. Грановскому: «Насъ постигло великое несчастье. Едва я могу собраться съ силами писать. Мы потеряли человѣка, котораго мы любили, въ кого мы вѣрили, кто былъ нашею гордостью и надеждою... И оглядываюсь, ищу —напрасно. Кто изъ нашего поколѣнія можетъ замѣнить нашу потерю? Кто достойный приметъ отъ умершаго завѣщаніе его великихъ мыслей и не дастъ погибнуть его вліянію, будетъ идти по его дорогѣ, въ его духѣ, съ его силой?... Отчего не умирать другому, тысячѣ другихъ, мнѣ, напр.? Когда же придетъ то время, что болѣе развитый духъ будетъ непремѣннымъ условіемъ яснаго развитія тѣла? Загѣмъ на землѣ можетъ гибнуть и страдать прекрасное?... Но нѣтъ, мы не должны унывать. Сойдемся, дадимъ другъ другу руки, станемъ тѣснѣе: одинъ изъ нашихъ умаль, быть-можетъ, лучшій. Но возникаютъ другіе; рука Бога не перестаетъ бить въ души зародыши великихъ стремленій, и рано ли, поздно ли —свѣтъ побѣдитъ тьму».

Такія свѣтлыя мысли внушала Тургеневу память о Станкевичѣ. Естественно, что, изображая настроеніе молодежи 30-хъ годовъ, онъ не могъ пройти мимо образа Станкевича и увѣковѣчить его въ лицѣ Покорскаго. Кромѣ того, нравственный обликъ Станкевича отразился въ «Яковѣ Пасынковѣ» Тургенева.—«Онъ говорилъ,—характеризуетъ авторъ своего героя,—вообще мало и съ замѣтнымъ

затрудненіємъ; но когда одушевлялся, рѣчь его лилась свободно и странное дѣло!—голосъ его становился тише, взоръ его какъ будто уходилъ внутрь и погасалъ, а все лицо слабо разгоралось. Въ устахъ его слова: «добро», «истина», «жизнь», «наука», «любовь», какъ бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали должнымъ звукомъ. Безъ напряженія, безъ усилія вступать онъ въ область идеала; его цѣломудренная душа во всякое время была готова предстать передъ «святѣнною красотой», она ждала только привѣта, прикосновенія другой души»...

Одинъ эпизодъ изъ воспоминаній Тургенева о Станкевичѣ воспроизведенъ имъ въ «Миколѣ Насынковѣ». Однажды въ Римѣ, поднимаясь по лѣстницѣ въ четвертый этажъ, Станкевичъ началъ читать стихотвореніе Пушкина «Предчувствіе»:

Снова тучи надо мною
Собралися въ тишинѣ;
Рокъ завистливый бѣдою
Угрожаетъ снова мнѣ...

Но вдругъ онъ остановился, кашлянулъ и поднесъ платокъ къ губамъ: на немъ была кровь. «Я невольно содрогнулся,—разсказываетъ Тургеневъ,—а онъ только улыбнулся и дочелъ стихотвореніе до конца». Эта способность забываться передъ поэтическимъ впечатлѣніемъ, съ reminiscenціей того же стихотворенія, воспроизведена и въ «Миколѣ Насынковѣ». Передъ смертью Миколѣ Насынкову просить своего пріятеля почитать ему. Тотъ беретъ Лермонтова. «Пушкинъ выше, конечно,—говоритъ умирающій Насынковъ.»—Помнишь: «Снова тучи надо мною собралися въ тишинѣ...» или «Въ послѣдній разъ твой образъ милый дерзаю мысленно ласкать...» Ахъ, чудо! чудо!..»

Н. А. Добролюбовъ придаетъ такимъ личностямъ, какъ Станкевичъ, абсолютное значеніе, безотносительно къ тому, проявила ли данная личность какую-либо дѣятельность или нѣтъ. Когда въ 1857 году вышла книга Н. В. Анненкова о Станкевичѣ, содержащая его біографію и переписку, въ «Библіотекѣ для Чтенія» (редакція А. В. Дружинина) появилась статья о книгѣ, въ которой авторъ, соглашаясь, что Станкевичъ былъ «чрезвычайно замѣчательною» личностью, ставилъ, однако, вопросъ: имѣетъ ли онъ «право на имя нравственнаго и общественнаго дѣятеля въ той степени, которая можетъ придать человѣку значеніе?» Н. А. Добролюбовъ доказываетъ, что Станкевичъ уже по тому имѣетъ право на историческое вниманіе, что онъ имѣлъ сильное вліяніе на Вѣлинскаго, Грановскаго и Кольцова, но, помимо того, личность Станкевича имѣетъ общественное значеніе безъ отношенія къ кому-либо другому.

«У насъ», говоритъ Добролюбовъ, еще недостаточно развито уваженіе къ нравственному достоинству отдѣльных личностей; у насъ еще перѣдко можно слышать такое разсужденіе: «онъ мнѣ ничего худого не сдѣлалъ: могу ли я назвать его негодяемъ?» Или такое: «что мнѣ уважать его? мнѣ отъ него ни тепло, ни холодно!»

Понятно, что люди съ такими понятіями и удивлены, и раздражены тѣмъ, что имъ смѣютъ говорить объ общественномъ значеніи чело-вѣка, который не только пирамиды не выстроилъ, Америку не открылъ, пороку не выдумалъ, но даже ни одного благотворитель-наго бала не сдѣлалъ, даже ни одной толстой книги не сочинилъ. Преувеличенныя похвалы Станкевичу намъ самимъ кажутся излишними и несправедливыми; сравнивать его съ Сократомъ, идеи котораго разнесены по свѣту нѣсколькими Платонами, намъ никогда не приходило въ голову. Но, съ другой стороны, мы считае-мъ крайне несправедливымъ и то отрицаніе, съ которымъ многіе относятся къ этой прекрасной, возвышенной личности. Кто при-знаетъ права личности и принимаетъ важность естественнаго, жи-вого, свободнаго ея развитія, тотъ пойметъ и значеніе Станкевича какъ въ самомъ себѣ, такъ и для общества».

XXXI. Философскія идеи кружка Покорскаго.—Нашъ кру-жокъ,—разсказываетъ Лежневъ,—состоялъ, говоря по совѣсти, изъ мальчиковъ—и недоученныхъ мальчиковъ. Философія, искусство, наука, самая жизнь—все это для насъ были одни слова, пожалуй, даже понятія, заманчивыя, прекрасныя, но разбросанныя, развѣди-ненныя. Общей связи этихъ понятій, общаго закона мы не созна-вали, не осязали, хотя смутно толковали о немъ, силились отдать себѣ въ немъ отчетъ... Слущая Рудина, намъ впервые показалось, что мы, наконецъ, схватили ее, эту общую связь, что поднялась на-конецъ завѣса! Положимъ, онъ говорилъ не свое—что за дѣло, по стройный порядокъ водворился во всемъ, что мы знали, все разбро-санное вдругъ соединялось, складывалось, вырастало передъ нами, точно зданіе, все свѣтлѣло, духъ вѣялъ всюду... Ничего не оста-валось безсмысленнымъ, случайнымъ; во всемъ высказывалась ра-зумная необходимость и красота, все получало значеніе ясное и, въ то же время, таинственное; каждое отдѣльное явленіе жизни звучало аккордомъ, и мы сами, съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ чувствовали себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, при-званными къ чему-то великому...»

Московскіе идеалисты 30-хъ годовъ находились подъ вліяні-емъ философскихъ системъ двухъ германскихъ профессоровъ—Фридриха Шеллинга (1775—1854) и Георга Гегеля (1770—1831); оба преподавали философію въ Іенѣ.

Ученіе Шеллинга носитъ названіе натуръ-философіи, потому что оно стремится дать философское объясненіе жизни природы, при чемъ идеи Шеллинга отмѣчены эстетическими интересами. Въ общемъ, онъ сводится къ слѣдующему. Въ природѣ нѣтъ раздѣленія на духъ и матерію. Все существующее есть развитіе единой силы, которую Шеллингъ опредѣляетъ, какъ абсолютное тождество. Такимъ образомъ, вся природа едина въ своей основѣ. Она постоянно пребываетъ въ процессѣ внутренняго творчества, саморазвитія. Наивышей ступенью этого развитія въ природѣ является чело-вѣкъ, потому что въ чело-вѣкѣ наиболѣе всего выражена творя-

щая сила, и въ его лицѣ природа достигаетъ сознанія. Но болѣе всего творческая сила, которою обладаетъ человѣкъ, проявляется въ художникѣ-поэтѣ, который какъ бы въ миниатюрѣ повторяетъ творческую дѣятельность природы. Поэтому, изучая художественное творчество, мы вмѣстѣ съ тѣмъ постигаемъ творческія тайны природы. Отсюда возвышенный взглядъ Шеллинга на поэта.

Гегель такъ же, какъ и Шеллингъ, признавалъ только одно абсолютное начало въ мірѣ. Это—идея, міровой Разумъ, который осуществляется какъ во всей природѣ, такъ и въ человѣкѣ. Въ природѣ, однако, міровой Разумъ, Духъ не достигаетъ полного развитія,—природа только ступень къ дальнѣйшему развитію Разума. Сущности своей міровой Духъ достигаетъ лишь въ человѣкѣ, но не въ отдельной гениальной личности—художникѣ, поэтѣ,—какъ учитъ Шеллингъ, а въ объективных проявленіяхъ жизни человечества во всей его совокупности, сказывающахся въ области права и государства, искусства, религіи и нравственности. Жизнь человечества, проявляющаяся въ указанныхъ формахъ, представляетъ высшую ступень развитія абсолютнаго Разума.

Въ томъ, что передаетъ Лежневъ объ идеяхъ, занимавшихъ кружокъ Покорскаго, нельзя уловить вліянія какой-либо одной изъ указанныхъ философскихъ системъ. Слова Лежнева обладаютъ настолько общимъ характеромъ, что въ нихъ содержаніе свободно укладываются и мысли Шеллинга и ученіе Гегеля, такъ какъ и тотъ и другой одинаково вносили стройность въ міросозерцаніе и наполняли вѣніемъ духа вселенную.

Неотразимое впечатлѣніе, какое производила философія на членовъ кружка Покорскаго, вполне передаетъ то настроеніе, которое въ дѣйствительности внушало знакомство съ нѣмецкою философіей русскихъ идеалистовъ 30-хъ годовъ. Объ этомъ свидѣлствуетъ Анненковъ: «Какимъ-то торжествомъ, свѣтлымъ, радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явленія природы тѣми же самыми законами, какими подчиняется духъ человѣческій въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому, навсегда пропасть, раздѣляющую два міра, и сдѣлать изъ нихъ единый сосудъ для вмѣщенія вѣчной идеи, вѣчнаго разума. Съ какой юношеской и благородной гордостью понималась тогда часть, предоставленная человѣку въ этой всемірной жизни! По свойству и праву мышленія, онъ переносилъ видимую природу въ самого себя, разбиралъ ее въ вѣдрахъ собственнаго сознанія,—словомъ, становился ея центромъ, судьбою и объяснителемъ. Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго, разумнаго и одухотвореннаго существованія. Какъ удовлетворялось высокое нравственное чувство со знаніемъ, что право на такую роль во вселенной не давалось человѣку по наследству, какъ имѣніе, утвержденное давнимъ владѣніемъ! Чѣмъ свѣтлѣе отражался въ немъ самый вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ полнѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни. На концѣ всего возрѣнія стояли нравственныя обязанности».

сти, и одна изъ необходимѣйшихъ обязанностей — высвободить въ себѣ самую божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго, для того, чтобъ имѣть право на блаженство дѣйствительнаго разумнаго существованія».

Увлеченіе философскими системами доходило, однако, у московскихъ идеалистовъ до крайности. «Молодые философы,—говорить А. И. Герценъ,—испортили себѣ пониманіе; отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которымъ такъ гениально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ дѣлѣ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Соколыники, шелъ для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ, и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмелькомъ или баба, вступающая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ сущность народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «темноту» или къ трагическому въ сердцѣ».

Насмѣшку надъ такимъ книжнымъ отношеніемъ къ самымъ простымъ явленіямъ находимъ также въ романѣ «Рудинъ». Писцовъ рассказываетъ о герояхъ произведенія (XII глава): «Безпрерывно развиваясь (эти господа все развиваются: другіе, напримѣръ, просто спать или ѣдить, — а они находятся въ моментъ развитія сна или ѣды...). Итакъ, развиваясь постоянно, Рудинъ дошелъ, путемъ философіи, до того умозаключенія, что ему должно влюбиться».

Философскіе интересы кружка Станкевича не остались безъ вліянія на дѣятельность тѣхъ его членовъ, которые вышли на литературную дорогу. Такъ, идеи Шеллинга и Гегеля нашли широкое отраженіе въ статьяхъ В. Г. Вѣлинскаго первой половины его литературной дѣятельности. Мысли о стройности мірозданія и о высокомъ нравственномъ назначеніи человѣка находимъ въ первой статьѣ Вѣлинскаго «Литературныя мечтанія», написанной подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ взглядовъ Шеллинга на природу, какъ на проявленіе одного начала, на человѣка, какъ сознательную ступень развитія этого единого начала, и на поэзію, какъ на повтореніе творческаго процесса природы.

«Весь безпредѣльный прекрасный Божій міръ,—говорить Вѣлинскій,—есть не что иное, какъ дыханіе единой вѣчной идеи (мысли единого, вѣчнаго Бога), проявляющагося въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи. Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать въ свои свѣтлыя мгновенія, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадные солнца, жилища—

пути млечные, а кровь — чистый эфиръ. Для этой идеи нѣтъ покоя: она живетъ безпрестанно, то-есть безпрестанно творить, чтобы разрушать, и разрушать, чтобы творить. Она воплощается въ блестящее солнце, въ великолѣпную планету, въ блудящую комету; она живетъ и дышитъ — и въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей, и въ свирѣномъ ураганѣ пустынь, и въ шелестѣ листьевъ, и въ журчаньи ручья, и въ рыканіи льва, и въ слезѣ младенца, и въ улыбкѣ красоты, и въ волѣ человека и въ стройныхъ созданіяхъ теней... Кружится колесо времени съ быстротой непостижимой, въ безбрежныхъ равнинахъ неба потухаютъ свѣтила, какъ истощившіеся вулканы, и закигаются новыя; на землѣ проходятъ роды и поколѣнія и замѣняются новыми, смерть истребляетъ жизнь, жизнь уничтожаетъ смерть, силы природы борются, враждуютъ и умиротворяются силами посредствующими, и гармонія царствуетъ въ этомъ вѣчномъ броженіи, въ этой борьбѣ началъ и веществъ. Такъ — идея живетъ: мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидитъ, все держитъ въ равновѣсіи; за наводненіемъ и за лавой испосылаетъ плодородіе, за опустошительной грозой — чистоту и свѣжесть воздуха, въ пустыняхъ песчаной Аравіи и Африки поселила верблюда и страуса, въ пустыняхъ ледяного Сѣвера поселила оленя. Вотъ ея мудрость, вотъ ея жизнь физическая: гдѣ же ея любовь? Богъ создалъ человека и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ эту идею своимъ умомъ и знаніемъ, да пріобщается къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной жаждущей любви! Итакъ, она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись, человекъ, своимъ высокимъ назначеніемъ; но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше всего творенія, что она въ тебѣ живетъ...

Объ искусствѣ Бѣлинскій пишетъ: «Какое назначеніе и какая цѣль искусства?... Изображать, воспроизводить въ словѣ, звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: вотъ единая и вѣчная тема искусства! Поэтическое одушевленіе есть область творящей силы природы...»

Подъ вліяніемъ же философскихъ взглядовъ Гегеля Бѣлинскій написалъ двѣ статьи: «Очерки Вородинскаго сраженія. О. Глинскій» и «Менцель, критикъ Гёте», о которыхъ можно сказать словами Погодина, относящимися къ К. С. Аксакову: «Гегель подпустилъ дымку въ смыслъ».

Философскія идеи кружка Станкевича отразилась также въ поэзіи А. В. Кольцова, который хорошо былъ знакомъ со Станкевичемъ и бывалъ въ его кружкѣ. Такъ, въ думѣ «Портъ» Кольцовъ повторяетъ идеи Шеллинга объ искусствѣ:

Властелинъ-художникъ
Создаетъ картину —
Великую драму,
Исторію царства.

Въ нихъ духъ вѣчной жизни
Самъ себя сознавши,
Въ видахъ безконечныхъ
Себя проявляетъ...

XXXII. Участники кружка Покорскаго.—«Взъерошенный поэтъ Субботинъ издастъ, по временамъ и какъ бы во снѣ, отрывистыя восклицанія; сорокалѣтній буршъ, сынъ нѣмецкаго пастора, Шеллеръ, прослышавшій между нами за глубочайшаго мыслителя, по милости своего вѣчнаго, ничѣмъ ненарушимого молчанья, какъ-то особенно торжественно безмолвствуетъ; самъ веселый Цитовъ, Аристофанъ нашихъ сходовъ, утихаетъ и только ухмыляется».

Н. Л. Бродскій въ монографіи «Поэты кружка Станкевича» доказываетъ, что въ лицѣ «взъерошеннаго поэта» Субботина, котораго раньше Лежневъ называетъ «полусумасшедшимъ и милѣйшимъ поэтомъ кружка», изобразилъ одного изъ участниковъ кружка Станкевича—Василія Ивановича Красова.

«Даже среди друзей,—характеризуетъ его Н. Л. Бродскій,—восторженныхъ, экзальтированныхъ, чрезмерно богатыхъ чувствами, В. И. Красовъ занималъ исключительное мѣсто, какъ истый романтикъ, всегда горящій воодушевленіемъ, восторгомъ... Если для Бѣлинскаго, Герцена и другихъ людей того поколѣнія «алый свѣтъ юности постепенно замѣнился сѣвернымъ, яснымъ солнцемъ реального пониманія», Красовъ долго продолжалъ жить въ мірѣ фантазій, окружать жизнь «нимбомъ», вѣрить въ ея «чудныя сказки». Мечтатель, онъ всюду видѣлъ прекрасное, таинственное, чудесное. Въ каждомъ переулкѣ, гдѣ поселялся, встрѣчалъ чудныя существа и необычныя происшествія, о которыхъ потомъ и рассказывалъ, прикрашивая и преувеличивая до фантастичнаго. Съ своими «находками» объяснялся чрезвычайно восторженно, и одна изъ тѣхъ глубокихъ натуръ, которыя все понимаютъ, послѣ поэтическаго монолога Красова, съ недоумѣніемъ спрашивала Станкевича, почему нельзя понять ни одного слова въ разговорѣ его друга? Душевная воспламеняемость его была изумительна. Какъ-то Станкевича, занимавшагося дома съ Красовымъ, позвали по одному дѣлу въ правленіе университета. Станкевичъ тотчасъ одѣлся и отправился. На подорожѣ онъ слышитъ, что кто-то поспѣшно его догоняетъ. Онъ оборачивается и видитъ Красова въ полномъ студенческомъ мундирѣ, со шнагою. «Ты куда?» спрашиваетъ его Станкевичъ.—«За тобою, за тобою,—отвѣчаетъ Красовъ со слезами на глазахъ.—Я буду защищать тебя до послѣдней капли крови». Станкевичъ съ трудомъ вразумилъ его, что никакой опасности не предвидится... И такъ всегда было: Красовъ во всемъ готовъ былъ видѣть необычайное».

Красовъ родился въ 1810 году въ Кадниковѣ, Вологодской губ., гдѣ отецъ его былъ соборнымъ протоіереемъ; по окончаніи Вологодской семинаріи учился въ Московскомъ университетѣ, который окончилъ въ 1835 г. Былъ преподавателемъ Черниговской гимназіи и, по рекомендаціи проф. М. П. Погодина, адъюнктомъ по кафедрѣ

русской словесности въ университетѣ св. Владимира. Проф. Дашкевичъ такъ характеризуетъ университетское преподаваніе Красова: онъ «былъ даровитая поэтическая натура, но нисколько не профессоръ. Чтобы быть хорошимъ профессоромъ и ученымъ, ему не доставало ни свѣдѣній, ни терпѣнія къ пріобрѣтенію ихъ. Читалъ онъ, подъ вліяніемъ минуты, съ необыкновеннымъ жаромъ, но безъ обдуманнаго плана и предварительнаго приготовленія. Сверхъ того, у него была способность видѣть въ утрированномъ поэтическомъ свѣтѣ самыя обыкновенныя вещи. Впрочемъ, къ чести Красова должно сказать, что восторженность его была неподдѣльная, и жаръ, съ которымъ онъ читалъ лекціи, истекалъ прямо изъ свойствъ его поэтической личности». Въ 1838 году Красовъ защищалъ диссертацию «о главныхъ направленіяхъ въ англійской и нѣмецкой литературѣ съ конца XVIII вѣка», но на диспутѣ обнаружилъ, по мнѣнію факультета, «неопредѣлительныя мысли» и не былъ удостоенъ степени доктора. Поэтому Красовъ оставилъ университетъ и пѣшкомъ, вслѣдствіе отсутствія денегъ, отправился въ Москву, питаясь по дорогѣ хлѣбомъ. Матеріальное его положеніе было настолько плохо, что пріятели собирали между собою деньги для него. Но бѣдность не измѣнила его романтическаго настроенія. Грановскій писалъ объ этомъ Станкевичу: Красовъ «все тотъ же: зажмурить глаза и читаетъ стихи». Больной чахоткою, онъ умеръ въ бѣдности въ 1854 году. Дашная Красову въ романѣ фамилія—Субботинъ, можетъ-быть, представляетъ намекъ на его духовное происхожденіе.

Въ лицѣ «сорокалѣтняго бурша» Шеллера, какъ можно догадываться, скрывается другой участникъ кружка Станкевича, другъ Герцена и Огарева, Николай Христофоровичъ Кетчеръ (1809—1886), шведъ по происхожденію. Кетчеръ окончилъ Медико-Хирургическую академію и служилъ въ Москвѣ. Въ русской литературѣ онъ пѣвѣственъ, какъ переводчикъ Шекспира, Гофмана и Шиллера. На Кетчера, какъ переводчика Шекспира, Тургеневъ написалъ эпиграмму:

Вотъ еще свѣтило міра—
Кетчеръ, другъ шипучихъ винъ;
Переперъ онъ мамъ Шекспира
На языкъ родныхъ осинъ!

По поводу же переводовъ Кетчера изъ Шиллера, Н. А. Полевой острилъ: «Штабъ-лѣкарь Кетчеръ—переводчикъ штабъ-лѣкаря Шиллера». Характеристику Кетчера даетъ А. В. Станкевичъ въ брошюрѣ: «Н. Х. Кетчеръ. Воспоминанія А. В. Станкевича. 1887 г.». Авторъ воспоминаній характеризуетъ Кетчера близко къ тому, что говорить о Шеллерѣ Лежневъ: «Кетчеръ былъ человекъ значительнаго ума, болѣе сильнаго и яснаго, чѣмъ гибкаго и тонкаго. Его мнѣнія и сужденія были, болѣею частію, похожи на короткіе категорическіе приговоры, въ оправданіе и объясненіе которыхъ онъ не любилъ и не умѣлъ пускаться... Своѣ признаніе, свое согласіе и сочувствіе высказывалъ Кетчеръ немногими словами, громкимъ одобре-

Въ нихъ духъ вѣчной жизни
Самъ себя сознавши,
Въ видахъ безконечныхъ
Себя проявляетъ...

XXXII. Участники кружка Покорскаго.—«Взвѣрошенный поэтъ Субботинъ издастъ, по временамъ и какъ бы во снѣ, отрывистыя восклицанія; сорокалѣтній буршъ, сынъ нѣмецкаго пастора, Шеллеръ, прослышавшій между нами за глубочайшаго мыслителя, по милости своего вѣчнаго, ничѣмъ ненарушимаго молчанья, какъ-то особенно торжественно безмолвствуетъ; самъ веселый Цитовъ, Аристофанъ нашихъ сходокъ, утихаетъ и только ухмыляется».

Н. Л. Бродскій въ монографіи «Поэты кружка Станкевича» доказываетъ, что въ лицѣ «взвѣрошеннаго поэта» Субботина, котораго раньше Лежневъ называетъ «полусумасшедшимъ и милѣйшимъ поэтомъ кружка», изобразилъ одного изъ участниковъ кружка Станкевича—Василія Ивановича Красова.

«Даже среди друзей,—характеризуетъ его Н. Л. Бродскій,—восторженныхъ, экзальтированныхъ, чрезмѣрно богатыхъ чувствами, В. И. Красовъ занималъ исключительное мѣсто, какъ истый романтикъ, всегда горящій воодушевленіемъ, восторгомъ... Если для Бѣлинскаго, Герцена и другихъ людей того поколѣнія «алый свѣтъ юности постепенно замѣнился сѣвернымъ, яснымъ солнцемъ реальнаго пониманія», Красовъ долго продолжалъ жить въ мірѣ фантазій, окружать жизнь «нимбомъ», вѣрить въ ея «чудныя сказки». Мечтатель, онъ всюду видѣлъ прекрасное, таинственное, чудесное. Въ каждомъ переулкѣ, гдѣ поселялся, встрѣчалъ чудныя существа и необычныя происшествія, о которыхъ потомъ и рассказывалъ, прикрашивая и преувеличивая до фантастичнаго. Съ своими «находками» объяснялся чрезвычайно восторженно, и одна изъ тѣхъ глубокихъ натуръ, которыя все понимаютъ, послѣ поэтического монолога Красова, съ недоумѣніемъ спрашивала Станкевича, почему нельзя понять ни одного слова въ разговорѣ его друга? Душевная воспламеняемость его была изумительна. Какъ-то Станкевича, занимавшагося дома съ Красовымъ, позвали по одному дѣлу въ правленіе университета. Станкевичъ тотчасъ одѣлся и отправился. На подорогѣ онъ слышитъ, что кто-то посѣбно его догоняетъ. Онъ оборачивается и видитъ Красова въ полномъ студенческомъ мундирѣ, со шнагою. «Ты куда?» спрашиваетъ его Станкевичъ.—«За тобою, за тобою,—отвѣчаетъ Красовъ со слезами на глазахъ.—Я буду защищать тебя до послѣдней капли крови». Станкевичъ съ трудомъ вразумилъ его, что никакой опасности не предвидится... И такъ всегда было: Красовъ во всемъ готовъ былъ видѣть необычайное».

Красовъ родился въ 1810 году въ Кадниковѣ, Вологодской губ., гдѣ отецъ его былъ соборнымъ протоіереемъ; по окончаніи Вологодской семинаріи учился въ Московскомъ университетѣ, который окончилъ въ 1835 г. Былъ преподавателемъ Черниговской гимназіи и, по рекомендаціи проф. М. П. Погодина, адъюнктомъ по кафедрѣ

русской словесности въ университетѣ св. Владимира. Проф. Дашкевичъ такъ характеризуетъ университетское преподаваніе Красова: онъ «былъ даровитая поэтическая натура, но несколько не профессоръ. Чтобы быть хорошимъ профессоромъ и ученымъ, ему не доставало ни свѣдѣній, ни терпѣнія къ пріобрѣтенію ихъ. Читалъ онъ, подъ вліяніемъ минуты, съ необыкновеннымъ жаромъ, но безъ обдуманнаго плана и предварительнаго приготовленія. Сверхъ того, у него была способность видѣть въ утрированномъ поэтическомъ свѣтѣ самыя обыкновенныя вещи. Впрочемъ, къ чести Красова должно сказать, что восторженность его была неподдѣльная, и жаръ, съ которымъ онъ читалъ лекціи, истекалъ прямо изъ свойствъ его поэтической личности». Въ 1838 году Красовъ защищалъ диссертацию «о главныхъ направленіяхъ въ англійской и нѣмецкой литературѣ съ конца XVIII вѣка», но на диспутѣ обнаружилъ, по мнѣнію факультета, «неопредѣлительныя мысли» и не былъ удостоенъ степени доктора. Поэтому Красовъ оставилъ университетъ и пѣшкомъ, вѣдѣствуя отсутствію денегъ, отправился въ Москву, питаясь по дорогѣ хлѣбомъ. Матеріальное его положеніе было настолько плохо, что пріятели собирали между собою деньги для него. Но бѣдность не измѣняла его романтическаго настроенія. Грановскій писалъ объ этомъ Станкевичу: Красовъ «все тотъ же: зажмуритъ глаза и читаетъ стихи». Большой чахоткою, онъ умеръ въ бѣдности въ 1854 году. Данная Красову въ романѣ фамилія—Субботинъ, можетъ-быть, представляетъ намекъ на его духовное происхожденіе.

Въ лицѣ «сорокалѣтняго бурша» Шеллера, какъ можно догадываться, скрывается другой участникъ кружка Станкевича, другъ Герцена и Огарева, Николай Христофоровичъ Кетчеръ (1809—1886), шведъ по происхожденію. Кетчеръ окончилъ Медико-Хирургическую академію и служилъ въ Москвѣ. Въ русской литературѣ онъ извѣстенъ, какъ переводчикъ Шекспира, Гёфмана и Шиллера. На Кетчера, какъ переводчика Шекспира, Тургеневъ написалъ эпиграмму:

Вотъ еще свѣтило міра—
Кетчеръ, другъ шипучихъ винъ;
Нереперь онъ намъ Шекспира
На языкъ родныхъ осинъ!

По поводу же переводовъ Кетчера изъ Шиллера, Н. А. Полевон остроилъ: «Штабъ-лѣкарь Кетчеръ—переводчикъ штабъ-лѣкаря Шиллера». Характеристику Кетчера даетъ А. В. Станкевичъ въ брошюрѣ: «Н. Х. Кетчеръ. Воспоминанія А. В. Станкевича. 1887 г.». Авторъ воспоминаній характеризуетъ Кетчера близко къ тому, что говорить о Шеллерѣ Лежневъ: «Кетчеръ былъ человекъ значительнаго ума, болѣе сильнаго и яснаго, чѣмъ гибкаго и тонкаго. Его мнѣнія и сужденія были, большею частію, похожи на короткіе категорическіе приговоры, въ оправданіе и объясненіе которыхъ онъ не любилъ и не умѣлъ пускаться... Свое признаніе, свое согласіе и сочувствіе высказывалъ Кетчеръ немногими словами, громкимъ одобре-

нѣмъ, крѣпкимъ пожатіемъ руки того, съ кѣмъ соглашался, иногда только радостно озарившимся лицомъ и улыбкой... Образъ жизни Кетчера, его обстановка и вкусы были своеобразны. Долго жилъ онъ одинокій и бездомный по неудобнымъ московскимъ квартирамъ, какъ живутъ *старые буржи*. Никакихъ привычекъ и потребностей удобствъ для него не существовало. Въ строгомъ порядкѣ содержался въ его жилищѣ только рабочій столъ и чернильница. Ни за работой, ни за ѣдой не выпускалъ онъ изо рта трубки или плохой дешевой сигары, въ дыму которыхъ еще фантастичнѣе представлялась его фигура, насушенные брови, толстыя губы и цѣлая шапка косматыхъ, густыхъ и вклокоченныхъ волосъ.

А. И. Герценъ, вспоминая Кетчера, которому онъ посвятилъ цѣлый очеркъ, говоритъ о немъ, что, когда «ему было лѣтъ подь сорокъ, онъ рѣшительно остался *старымъ студентомъ*».

Кто такой «веселый Щитовъ, Аристофанъ сходовъ», это разъясняетъ Н. Л. Бродскій въ указанной выше монографіи. Щитовъ — поэтъ Иванъ Петровичъ Ключниковъ (1811—1895), о которомъ часто въ своей перепискѣ упоминаетъ Станкевичъ, научившій вмѣстѣ съ нимъ Канта и Шеллинга. Ключниковъ обладалъ бойкимъ остроуміемъ, слѣды котораго остались въ его эниграммахъ. Остроуміе его было настолько привычно для московской литературной среды, что, когда появился памфлетъ Вѣлинскаго «Неданти», остроумно высмѣивавшій проф. С. И. Шевырева, Воткинъ приписалъ его Ключникову. Анненковъ называетъ Ключникова Мефистофелемъ московскаго кружка, такъ какъ онъ осмѣивалъ крайнія идеалистическія увлеченія его участниковъ. Свои стихотворенія Ключниковъ подписывалъ греческою буквою Θ (онита); съ производною отсюда фамиліей Оитовъ можно сблизить фамилію Щитовъ.

XXXIII. *Рудинъ—Бакунинъ*.—Если даже упоминаемая мелькохъ лица романа могутъ быть объяснены исторически, въ смыслѣ соответствія чертъ ихъ характеровъ опредѣленнымъ, существовавшимъ въ дѣйствительности личностямъ, то, конечно, и главное лицо романа—Рудинъ—не представляетъ всецѣло продукта творческой фантазіи Тургенева. «Въ основу Рудина,—вспоминаетъ одинъ авторъ слова Тургенева,—положенъ Бакунинъ. Я его хорошо зналъ и прожилъ съ нимъ, будучи студентомъ въ Берлинѣ, цѣлый годъ въ одной комнатѣ». (Воспоминанія А. Подовцева, «Царь-Колоколъ» на 1887 г.). Еще болѣе достоверное свидѣтельство этому находимъ въ собственномъ письмѣ Тургенева отъ 1862 года 28 сентября къ малорусской писательницѣ М. А. Марковичъ (Марко-Вовчокъ): «Что за чепуху! Бакунинъ, спрашиваете вы? Я въ Рудинѣ представилъ довольно вѣрный его портретъ: теперь это—Рудинъ, не убитый на баррикадѣ».

Бакунинъ имѣлъ сильное вліяніе на кружокъ Станкевича. Послѣдній, вспоминая Анненковъ, «суетливо отыскивалъ книги философскаго содержанія, старался учредить порядокъ въ чтеніи и обращался за совѣтами къ опытнымъ людямъ, знакомымъ съ историческимъ ходомъ германскаго мысленія. Когда

въ 1835 году пошелъ въ этотъ кругъ человекъ, надѣленный въ высшей степени способностями къ философскимъ занятіямъ, то стремленіе это получило еще большее развитіе». Этотъ человекъ былъ Бакунинъ.

Жизнь Михаила Александровича Бакунина была богата событіями. Родился онъ въ 1814 году въ Тверской губерніи, гдѣ отецъ его былъ предводителемъ дворянства. Въ 1832 г. Бакунинъ окончилъ артиллерійское училище и два года служилъ офицеромъ. По выходѣ въ отставку поступилъ въ Московскій университетъ, гдѣ примкнулъ къ кружку Станкевича. Въ 1840 г. уѣзжаетъ въ Германию, гдѣ сближается съ нѣмецкими социалистами. Во Франціи близко знакомится съ нѣкѣтными французскими писателями Прудономъ и Жюль-Зандъ и вступаетъ въ сношенія съ національными мастерскими; примыкаетъ къ польскимъ эмигрантскимъ комитетамъ, способствуя возбужденію революціоннаго движенія въ Польшѣ. Въ 1847 году, по распоряженію министра Гизо, Бакунинъ высылается изъ Париза, но въ слѣдующемъ году возвращается туда и примыкаетъ къ революціи 1848 года; но такъ какъ Бакунинъ не имѣлъ никакой выдержки и мѣнять временному правительству, то и оно его выслало изъ Париза. Затѣмъ Бакунинъ принимаетъ участіе въ возстаніи чеховъ, сражается на баррикадахъ въ Дрезденѣ и въ 1849 году попадаетъ въ руки саксонскаго правительства, которое приговариваетъ его къ смертной казни, но послѣдствіемъ выдаетъ австрійскому правительству; послѣднее же передаетъ Бакунина русской власти. Въ 1857 году онъ былъ сосланъ въ Восточную Сибирь, откуда бѣжалъ черезъ шесть лѣтъ. Въ 1862 году участвуетъ въ журналѣ Герцена «Колоколъ». Не останавливаясь на одномъ мѣстѣ, агитируетъ, возбуждая революціонныя настроенія, въ Швеціи, Италіи и Цепаніи и въ 1869 году основываетъ «Всемирный союзъ социалистической демократіи». Въ 1876 году въ Бернѣ Бакунинъ умерилъ себя голодомъ.

Лица, близко знавшія Бакунина, даютъ ему характеристику, которую легко сближить съ нѣкоторыми чертами Рудина.

Аппенковъ говоритъ объ ораторскомъ талантѣ Бакунина, указывая на его «страсть къ витіюству», «врожденную изворотливость мысли», пылкую, всегда какъ-то праздничную по своей формѣ, шумную, хотя и нѣсколько холодную, малообразную и искусственную рѣчь». Съ характеристикой, данной Тургеневымъ краснорѣчиво Рудина, это не совпадаетъ въ существенномъ отношеніи—рѣчь Рудина была, наоборотъ, многообразна: образы смѣшались образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрные, возникали за сравненіями.

Бѣлинскій такъ охарактеризовалъ Бакунина: «Дикая мощь, безпокойное, тревожащее и глубокое движеніе духа, безпрестанное стремленіе вдалѣ, безъ удовлетворенія настоящимъ... порываніе къ общему отъ частныхъ явленій»...

Такая черта, какъ «дикая мощь», опять не подходитъ къ характеру Рудина.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, слова: «глубокое движеніе духа», противорѣчатъ тому, что, по словамъ Анненкова, тотъ же Бѣлинскій сказалъ о Бакунинѣ: «это—пророкъ и громовержецъ, но съ румянцемъ на щекахъ и безъ пыла въ организмѣ». Это ближе къ тому, что Лежневъ говоритъ о Рудинѣ, который, по его словамъ, «холоденъ, какъ ледъ, и знаетъ это, и прикидывается пламеннымъ».

Болѣе всего напоминаетъ Рудина характеристика, которую даетъ Бакунину Т. Н. Пассекъ: «Личность Бакунина была странна и замѣчательна. Умный, начитанный, обладающій даромъ слова, проникнутый нѣмецкою философіею, онъ иногда былъ малодушенъ какъ ребенокъ, которому хочется какого-либо дѣла: если печатать, то прокламаціи; если дѣйствовать, то все вездѣ поставить вверхъ дномъ; ничего не щадить, никогда не задаваться мыслью, что изъ этого можетъ выйти—итти напроломъ».

Къ послѣднимъ словамъ можно припомнить признанія Рудина. Говоря о своей жизни у «одного довольно страшнаго господина», богатаго помѣщика, Рудинъ рассказываетъ Лежневу: «Планы, брагъ, у меня были громадныя»; когда же онъ поступилъ на учительскую службу въ гимназію, то «хотѣлъ коренныхъ преобразованій».

Академикъ Д. Н. Овсянко-Куликовскій говоритъ объ отношеніи типа Рудина къ историческому Бакунину: «За вычетомъ ума и диалектики, а также, можетъ-быть, и нѣкоторыхъ чертъ характера, которыми Рудинъ отчасти напоминаетъ Бакунина, мы скажемъ, что въ остальномъ между ними нѣтъ сходства. Бакунинъ, несомнѣнно, былъ доктринеръ и фанатикъ, что относъ нельзя сказать о Рудинѣ. Дилетантъ мысли и благородныхъ чувствъ, Рудинъ имѣетъ опредѣленные убѣжденія и, навѣрное, никогда не измѣнилъ бы имъ, но мы не видимъ, чтобы онъ слѣдовалъ какой-либо доктринѣ, и въ его отношеніяхъ къ идеямъ нѣтъ фанатизма. Можно думать только, что въ 50-хъ годахъ Бакунинъ представлялся Тургеневу, какъ умъ и отчасти характеръ, приблизительно въ томъ свѣтъ, въ какомъ изображенъ Рудинъ, но видѣть въ послѣднемъ вѣрную копію съ перваго нельзя». («Исторія русск. интеллигенціи», ч. II).

Мнѣніе Д. Н. Овсянко-Куликовскаго надо признать правильнымъ, потому что въ художественномъ типѣ только нѣкоторыя черты могутъ быть историческими или вообще соответствовать тѣмъ чертамъ характера, которыя наблюдались авторомъ въ дѣйствительности въ томъ или иномъ лицѣ, такъ какъ творчество, ставясь на путь копировки дѣйствительности, перестаетъ быть истиннымъ художественнымъ творчествомъ. Да Тургеневъ и не старался создать портретъ Бакунина.—«Я не столько не хочу,—говорилъ впоследствии Тургеневъ,—но я совершенно не могу, не въ состояніи написать что-нибудь съ предвзятою мыслью и цѣлью, чтобы провести ту или другую идею. У меня выходитъ произведеніе литературное такъ, какъ растетъ трава». («Русская Старина», 1883, окт., 214—15). Стремленіе дать портретъ Бакунина было бы именно «предвзятою цѣлью»; но характеръ Рудина развивался иначе. «Въ основу Рудина положенъ Бакунинъ», говорилъ самъ авторъ,

онъ быть «натурщикомъ» при созданіи типа, но чтобы литературный герой не былъ портретомъ, отраженіемъ единичнаго лица, а обладалъ бы обобщающею силою, т.е. чтобы при посредствѣ даннаго героя могла мыслиться группа однородныхъ характеровъ, — для этого Тургеневъ долженъ былъ наблюдать родственную Рудину психологию также въ другихъ современникахъ. Что это такъ, подтверждаетъ самъ Тургеневъ въ письмѣ къ С. Т. Аксакову: «Мнѣ пріятно, что вы,—ищите онъ,—не ищите въ Рудинѣ копій съ какого-нибудь извѣстнаго лица... Ужъ коли съ кого списывать, такъ съ себя начинать». («Вѣстникъ Европы», 1894, № 2, 494).

XXXIV. *Рудинъ и общія черты русской интеллигенціи 30—40-хъ годовъ.*—Что въ Рудинѣ нашла отраженіе не только психологія Бакунина, но и вообще черты, общія представителямъ русской интеллигенціи 30—40-хъ годовъ, объ этомъ можно говорить, хотя бы сравнивая Рудина съ чертами характера поэта Николая Платоновича Огарева, близкаго сотрудника Герцена по изданію лондонскаго журнала «Колоколъ».

Н. П. Огаревъ (1813—1877), какъ онъ изображенъ въ «Воспоминаніяхъ» Анненкова,—типичныи Рудинъ. Последній «говорилъ прекрасно... о необходимости дѣлать дѣло». Не менѣе прекрасно и горячо говорилъ о томъ же Огаревъ: «Дайте мнѣ дѣйствія,—восклицалъ онъ,—дайте желаемыи крутъ дѣйствія! Я чувствую въ себѣ силу неограниченную. Нѣтъ, еще есть вѣра, и я пойду далеко... Мой fatum (т.е. предназначеніе) написанъ рукою Бога по пути вселенной: онъ неизмѣненъ». Къ этому слѣдуетъ припомнить сознаніе Рудина въ его письмѣ къ Натальѣ, что ему «природа много дала».

Далѣе, въ отношеніи Огарева любопытна смѣна его дѣлъ и намѣреній во время жизни въ пензенскомъ имѣніи: «Я читаю Ганемана,—пишетъ онъ,—убѣжденъ въ дѣйствительности гомеопатіи; я буду лѣчить... Я изобрѣлъ методу обученія въ народныхъ училищахъ... Иногда меня привлекаетъ законодательство: я кое-что написалъ на этотъ счетъ... Придумалъ способъ узнавать вѣсь электричества...» Дальше слѣдуетъ мысль о созданіи фабрики, которая бы освободила крестьянъ отъ платежа барскихъ и государственныхъ повинностей; а тамъ возникаетъ идея издавать вмѣстѣ съ Гегелемъ журналъ... Ту же неопредѣленность и разнохарактерность интересовъ и предпріятій обнаруживаетъ Рудинъ; и все у обоихъ оканчивается неудачно. Анненковъ говоритъ объ Огаревѣ, что «онъ оказывался полнымъ неудачникомъ во всемъ, что ни предпринималъ. Это была избранная натура, созданная на то, чтобы на нее любовались, но не привлекали къ черновой работѣ, требуемой жизнью».

Найдется сходство между Огаревымъ и Рудинымъ также въ ихъ разсужденіяхъ о любви.—«Я,—писалъ Огаревъ,—не долженъ предаваться любви: моя любовь посвящена высшей универсальной «Любви», въ основѣ которой нѣтъ эгоистическаго чувства наслажденія: я принесу мою настоящую любовь въ жертву на алтарь всемірнаго чувства». Почти такъ же разсуждаетъ Рудинъ, заявляя Натальѣ: «Отъ дѣятельности, отъ блаженства дѣятельности я никогда не

откажусь, но я отказался от наслаждения. Мои надежды, мои мечты и собственное мое счастье не имѣють ничего общаго».

Огаревъ, Герценъ, Бакунинъ, Станкевичъ, Бѣлинскій, К. С. Аксаковъ — всѣ они составляли ту среду, которая создала въ 30—40-е годы своеобразную приветливую атмосферу, и Рудинъ—ея проявленіе. Онъ художественный памятникъ переживаній представителей передоваго общества данной эпохи и, конечно, самого автора.

Характеризуя Рудина со стороны общественныхъ чертъ определенной эпохи, Д. Н. Овсяннико-Куликовскій говоритъ:

«Тургеневъ вполне удачно отмѣтилъ самое важное, самое существенное, чѣмъ душевный міръ людей 30—40-хъ годовъ характеризовался по преимуществу. На первый планъ выдвигается здѣсь то, что можно назвать философскою жаждою. Ни одно поколѣніе не отличалось этой чертою въ такой мѣрѣ, какъ именно поколѣніе 40-хъ годовъ, когда съ такимъ рвеніемъ философствовали и западники, и славянофилы... Эту жажду философскихъ откровеній изобразилъ Тургеневъ въ словахъ Лежнева о Рудинѣ: «Онъ прочелъ немного, но читалъ онъ философскія книги, и голова у него такъ была устроена, что онъ тотчасъ же изъ прочитаннаго извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла и уже потомъ проводилъ отъ него во всѣ стороны свѣтлыя, правильныя нѣти мысли, открывалъ духовныя перспективы».

Итакъ, Рудинъ—философская голова. Какъ умъ, онъ воплощаетъ въ себѣ черты, которыми, несомнѣнно, обладали выдающіеся дѣятели эпохи, въ особенности Бѣлинскій, Бакунинъ, Герценъ и Хомяковъ».

Затѣмъ Д. Н. Овсяннико-Куликовскій указываетъ, что у Рудина «настоящій талантъ оратора, трибуна». Эта черта не случайна: она характерна для «людей 40-хъ годовъ», у которыхъ, рядомъ съ философскими дарованіями, выделялись и словесныя, очень вѣнчавшіяся и имѣвшія несомнѣнное значеніе въ ихъ жизни и дѣятельности. Объ ораторскомъ талантѣ Бакунина говорилось выше. Хомяковъ былъ удивительнымъ диалектикомъ и спорщикомъ. Бѣлинскій, когда былъ въ ударѣ, развивалъ необычайную силу рѣчи. Грановскій былъ образцовымъ лекторомъ. Е. О. Коршъ блисталъ «мѣткимъ и ядовитымъ остроуміемъ», по свидѣтельству Аниенкова. Блестка и обаяніе рѣчи Герцена достаточно извѣстны. Весьма характерно то, что въ воспоминаніяхъ объ эпохѣ 40-хъ годовъ, какъ, напр., соответственныя главы «Былого и думъ» Герцена, «Замѣчательное десятилѣтіе» Аниенкова и др., такъ обстоятельно говорится о «словесныхъ» способностяхъ и особенностяхъ лицъ, которымъ посвящены воспоминанія, точно ихъ авторы уже ожидаютъ отъ читателя вопроса Александры Павловны: «А какъ онъ говорилъ?» Нажъ невольно вспоминаются при этомъ Наталья и Басистовъ, пораженные рѣчью Рудина, да и вообще вырисовывается то обаяніе, какое въ тѣ годы производило уиное, просвѣщенное, искреннее, горячее, краснорѣчивое слово. Приведу слѣдующее мѣсто изъ воспоминаній Аниенкова,

относящееся къ Герцену, но вмѣстѣ съ тѣмъ рисующее и самого, тогда юнота, автора въ положеніи Басистова: Признаться сказать, меня ошеломилъ и озадачилъ, на первыхъ порахъ знакомства (съ Герценомъ), этотъ необычайно подвижной умъ, переходившій съ неистощимымъ остроуміемъ, блескомъ и непонятной быстротой отъ предмета къ предмету, умѣвшій схватить и въ складѣ чужой рѣчи, и въ простомъ случаѣ изъ текущей жизни, и въ любой отвлеченной идее ту яркую черту, которая дасть имъ физіономію и живое выраженіе. Способность къ поминутнымъ, неожиданнымъ сближеніямъ разнородныхъ предметовъ... была развита у Герцена въ необычайной степени, такъ развита, что подъ конецъ даже утомляла слушающихъ. Неугасающій фейерверкъ его рѣчи, неистощимость фантазии и воображенія, какая-то безоглядная расточительность ума приводили постоянно въ изумленіе его собесѣдниковъ».

Люди 40-хъ годовъ» много учились, читали, много мыслили и много разговаривали, разговаривали гораздо больше своихъ предшественниковъ и своихъ преемниковъ. Ихъ интимная жизнь протекала въ частыхъ дружескихъ бесѣдахъ, въ которыхъ они отводили душу, и въ нескончаемыхъ спорахъ, въ которыхъ вымещались ихъ мысли, ихъ разногласія, опредѣлялись ихъ отношенія къ дѣятельности. «Слово» было ихъ «дѣло». Взамѣвъ того, въ практической дѣятельности даже въ узкихъ предѣлахъ возможнаго и доступнаго тогда, они обнаруживали невыдержанность, неумѣлость, отсутствіе дѣловитости и инициативы. Въ этомъ смыслѣ по ихъ адресу высказывались въ 50-хъ и 60-хъ годахъ суровые упреки, въ которыхъ было много справедливаго. Но эти упреки приходится теперь смягчить ссылкою на общія условія времени и на психологію самихъ дѣятелей. Принимая во вниманіе ея вѣзвѣщныя черты, мы скажемъ такъ: главнѣйшая очередная задача времени, улучшеніе быта крѣпостныхъ и подготовка ихъ эмансипаціи, занимала въ ихъ созданіи, въ ихъ мысляхъ и спорахъ, а равно и въ ихъ дѣятельности далеко не подобающее мѣсто. Правда, тѣ изъ нихъ, которые владѣли крѣпостными, старались улучшить ихъ бытъ, переводили съ барщины на оброкъ, относились къ нимъ гуманно. Но вѣдь это только тотъ минимумъ, который былъ нравственно обязателенъ для всякаго порядочнаго, добраго помѣщика. Одинъ только Огаревъ рѣшился отпустить своихъ крестьянъ на волю, взявъ съ нихъ ничтожныя сравнительно съ милліоннымъ состояніемъ выкупъ и «устроить» ихъ бытъ. Но по непрактичности «устроить» дѣло такъ, что его крестьяне попали изъ огня да въ полымя—въ кабалу кулакамъ. Можно ли осуждать Огарева? Разумѣется, нѣтъ. Но можно указывать на такіе факты, какъ на доказательство неприспособленности лучшихъ людей 40-хъ годовъ къ вѣзвѣщающему дѣлу, стоявшему тогда на очереди».

«Оставляя въ сторонѣ эту чисто-практическую дѣятельность, мы повторимъ здѣсь то, на что указывалось неоднократно: вырабатывать міросозерцаніе, упражняться въ діалектикѣ, очищать свои чужія головы отъ устарѣлыхъ и дикихъ понятій, распространять

гуманныя идеи и т. д., это было тогда несомнѣнное «дѣло», и люди 40-хъ годовъ отлично дѣлали его устно, письменно и въ предѣлахъ цензуры, печатно. И Рудинъ въ этомъ отношеніи является типичнымъ представителемъ эпохи, которую можно назвать эпохою первоначальной выработки передовыхъ идей, гуманныхъ стремленій и, такъ сказать, психологическихъ предпосылокъ нравственного и общественнаго сознанія у насъ. Для такого дѣла «музыка краснорѣчія» была неоцѣненнымъ подспорьемъ.

Главный недостатокъ Рудина, это—то, что онъ самъ слишкомъ увлекается «музыкою своего краснорѣчія» и неосторожно переступаетъ ту границу, которая отдѣляетъ слово, какъ орудіе пропаганды, какъ силу просвѣтительную, отъ слова, какъ легкаго и пріятнаго способа отдѣлаться отъ дѣла разговоромъ о немъ, о его необходимости. И это было далеко не чуждо «людямъ 40-хъ годовъ» (не вѣдь, конечно). Излишество и праздность рѣчи—вотъ «порокъ», которымъ страдали въ разной мѣрѣ говоруны, блестящіе собесѣдники и спорщики того времени. Тургеневъ мѣтко и зло отгѣнилъ въ Рудинѣ эту черту, напр. въ главѣ V, гдѣ Наталья говоритъ ему: «...вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ. Кому же, какъ не вамъ?... Въ отвѣтъ на это Рудинъ только «безнадежно махнулъ рукой», но потомъ, воспрянувъ духомъ и «встряхнувъ своей львиной гривой», произнесъ горячую тираду о томъ, что онъ «не долженъ скрывать свои таланты», «не долженъ растрачивать свои силы на одну болтовню пустую, безполезную болтовню, на одни слова»...— «И слова его полились рѣкою. Онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно о незрѣлѣ малодушія и лѣни, о необходимости дѣлать дѣло. Онъ осмѣлѣлъ самого себя упреками...» и т. д.

Какъ типичный представитель людей эпохи, Рудинъ обладаетъ всеми качествами, необходимыми для роли «просвѣтителя», кромѣ одного: работоспособности. У него нѣтъ выдержки въ трудѣ, упорства въ достиженіи цѣли, въ любви къ самому дѣлу «просвѣщенія» въ его трудной, будничной сторонѣ. Онъ любитъ только говорить о немъ, и пока онъ говоритъ, это дѣло само собою дѣлается. Но бѣда въ томъ, что онъ говоритъ такъ удачно и успѣшно только тогда, когда въ ударѣ, когда его посѣщаетъ «вдохновеніе». А между тѣмъ всякое культурное дѣло, въ томъ числѣ и просвѣтительное, имѣетъ свою черную работу, свои будни и не можетъ преуспѣвать, если будетъ дѣлаться только по праздникамъ «вдохновенія».

Вотъ именно этою-то невыдержкою въ будничной работѣ и отличались люди 40-хъ годовъ, кромѣ немногихъ, преимущественно лицъ не-дворянскаго, не-помѣщичьяго происхожденія, какъ Бѣлинскій, изъ дворянъ—Грановскій. Герценъ много работалъ, но все-таки онъ былъ «баринъ»,—«барство» сказывалось въ его отношеніяхъ къ вещамъ и людямъ, въ самой манерѣ мыслить и понимать». («Исторія русской интеллигенціи», ч. I, глава VI).

XXXV. *Лежневъ—поражатель Байрона.*—Лежневъ говоритъ Липиной: «Вы, можетъ, думаете, я стиховъ не писалъ». Писалъ-съ, и даже цѣлую драму сочинилъ, въ подражаніе Мюфреду».

«Манфредъ» — драматическое произведение Байрона. Манфредъ — человекъ, надѣленный сверхъестественною силою, постигшій все таинства природы, одаренный необъятнымъ разумомъ, подчиняющій себѣ даже безидольныхъ духовъ. Несмотря на все это, душа Манфреда полна скорбной неудовлетворенностью всемъ; его можетъ удовлетворить только забвеніе самого себя, и потому онъ ищетъ смерти. Манфредъ — одинъ изъ представителей «міровой скорби», подобно другому герою Байрона, Чампль-Гарольду, Рене — Шато-бріана, Алеко — Пушкина, Демону и Печорину — Чермонта. Выше (XXVI) указано сопоставленіе Рудина и Печорина, впервые сдѣланное К. Аксаковымъ и развитое проф. Ивановымъ. Что въ настроеніи Рудина и другихъ лицъ, подчинявшихся его вліянію, были также ноты «міровой скорби», доказываютъ признанія Лежнева въ томъ, что онъ сочинилъ драму въ подражаніе Манфреду. Такъ сильны были вѣянія байроновскихъ настроеній, что имъ поддавались даже такіе флегматическіе, по собственному признанію, люди, какъ Лежневъ. Это — историческая черта въ біографіи послѣдняго. Конечно, у Лежневыхъ не могло быть глубины разочарованія; въ нихъ оно было мимолетнымъ, не столько идеальнымъ, сколько бытовымъ явленіемъ, какъ въ Евгѣнѣ Онегинѣ. Въ другомъ произведеніи — повѣсти «Два пріятели» — Тургеневъ подмѣтилъ и отбѣнилъ такой характеръ байроническихъ настроеній у рядовыхъ представителей русскаго общества первой половины 50-хъ годовъ.

Когда Кручининъ сообщилъ Вязовину, что онъ везетъ его знакомиться съ семействомъ помѣщиковъ Тиходуевыхъ, состоящимъ изъ отца, матери и двухъ дочерей, то Вязовинъ подумалъ: «Словно семейство Лариныхъ изъ Онегина». «И по милости ли этого воспоминанія, по другой ли какой причинѣ, черты его лица приняли на вѣкоторое время видъ разочарованный и есучающій».

XXXVI. *Павелъ и Виргинія*. — Вспоминая свою юношескую любовь, разрушенную уметованіями Рудина, Лежневъ говоритъ Липиной: «Я бы едва ли женился тогда на моей барышнѣ, но, по крайней мѣрѣ, мы бы съ ней славно провели нѣсколько мѣсяцевъ, въ родѣ Павла и Виргиніи».

«Павелъ и Виргинія» — сентиментальный романъ Жака-Анри Бернардена де-Сенъ-Пьера, французскаго писателя XVIII вѣка, вышедшій въ 1788 году. Въ немъ изображается жизнь двухъ семействъ на Островѣ Франціи (нынѣ островъ св. Лаврентія): господа де-ла-Туръ и ея дочери Виргинія и Маргариты и ея сына Поля (Павла). Какъ обѣ матери, такъ и особенно дѣти были связаны нѣжною любовью другъ къ другу и проводили время въ спокойномъ и счастливомъ трудѣ на своей землѣ. «Каждый деньъ былъ для этихъ семействъ днемъ счастья и мира», — говоритъ про нихъ соудъ.

Окончаніе романа, однако, трагическое: Виргинія погибаетъ при кораблекрушеніи; остальные герои романа умираютъ одинъ за другимъ отъ охватившаго ихъ горя.

XXXVII. *Наталя въ характеристикѣ Лежнева*. — «Наталя, — говоритъ Лежневъ Липиной, — не ребенокъ, повѣрьте мнѣ, хотя, къ

несчастію, неопытна — глупъ ребенокъ. Вы увидите, эта дѣвочка утѣшитъ всѣхъ насъ». — Какимъ это образомъ? — «А вотъ какимъ образомъ... Знаете ли, что именно такіа дѣвочки тоиются, принимаютъ адъ и такъ даѣе? Вы не глядите, что она такая тихая: страсти въ ней сильныя, и характеръ — тоже он-он!»

Давая такую характеристику Натальѣ устами Лежнева, Тургеневъ повторяетъ въ ея лицѣ характеръ другой своей героини, изъ произведенія, предшествовавшаго «Рудину», именно изъ «Затишья». Героиня этой повѣсти Марья Павловна такъ же чувствовала глубоко и сильно, какъ и Наталья; такъ же мало говорила. Подлюбивъ Беретьева и разочаровавшись въ немъ, Марья Павловна кончаетъ самоубійствомъ, бросившись въ прудъ. Наталья, какъ говоритъ Лежневъ, по натурѣ также способна на это. Но условія жизни Марьи Павловны и Натальи различны, и потому послѣдняя не приходитъ къ трагическому концу. У Марьи Павловны нѣтъ никакихъ привязанностей, у Натальи все же есть родная семья: Марья Павловна совершенно необразованная женщина, и потому чувства ея должны быть непосредственнѣе, чѣмъ у Натальи, дѣвушка хорошо воспитанной и для своего времени достаточно образованной. Кроме того, Марья Павловна грубѣе и суровѣ Натальи.

ГЛАВА VII.

XXXVIII. *Мифыіе Рудина о призваніи женщины.* — Рудинъ говоритъ Натальѣ: «Вы не разъ слышали мое мнѣніе о призваніи женщины, вы знаете, что, по-моему, одна Жанна д'Аркъ могла спасти Францію»...

Высокое мнѣніе о призваніи женщины не было принадлежностью міросозерднія одного Рудина, — для идеалистовъ 30-хъ годовъ, въ значительной степени романтиковъ, это была общія черта. Н. В. Станкевичъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Я. М. Невѣрову (21 сент. 1836 г.) говоритъ: «Мужнина грубъ въ своей добродѣтели, въ благо родные порывы души его носятъ какую-то печать цинизма, какую-то жестокость; въ немъ больше стоицизма, чѣмъ христіанства, нежеліи человечества. Только вліяніемъ женщины, вліяніемъ семейныхъ отношеній — это благородное, сильное, но все немного деспотическое, чувство долга обращается въ орадное чувство любви, сознаніе добра — въ непосредственное его ощущеніе». Бѣлинскій говоритъ, что натура женщины — «любовь и самоотверженіе». («Сочиненія Пушкина», глава VIII).

XXXIX. *Ла-Рошфуко.* — Французскій писатель-моралистъ XVII вѣка. Сборникъ его афоризмовъ «Максимы» проникнутъ скептическимъ и невысокимъ отношеніемъ къ нравственной природѣ человека.

XI. *Рудинъ — курьіе.* — Когда за обѣдомъ у Масуновъ Пигасовъ началъ разсуждать о «курыхъ и длиннохвостыхъ» людяхъ и Рудинъ «небрежно» замѣтилъ, что его мнѣнія опредѣленнѣе уже давно были

высказаны Ма-Ропшдо, прибавивъ: «Вѣ чему тутъ было примѣни-
вать хвостъ, я не понимаю», Волынцевъ рѣзко заговорилъ: «По-
звольте каждому выразиться, какъ ему вздумается. Толкуютъ
о деспотизмѣ... Но-моему, вѣтъ хуже деспотизма такъ называемыхъ
умныхъ людей. Чортъ бы ихъ подобралъ!»

«Всѣхъ изумила выходка Волынцева, всѣ притихли. Рудинъ
посмотрѣть было на него, но не вытерпѣлъ, отвернулся, улыбающа
и рта не разинулъ.

«Ого, да и ты куць!» подумалъ Никасовъ».

Эту характеристику Рудина, вѣтъ «куцаго», потому что онъ не
обнаружить въ данномъ случаѣ увѣренности въ себѣ и силы воли,
можно сблизить съ самохарактеристикой другого тургеневскаго
героя — Нежданова (Нозъ). У послѣдняго вѣтъ нужной для поли-
тического пропагандиста увѣренности въ себѣ, въ своемъ дѣлѣ;
онъ съ завистью говоритъ о видѣнномъ имъ сектантскомъ про-
повѣдникѣ, который самъ не знаетъ, что онъ проповѣдывалъ,
но зато говорилъ съ необычайнымъ возбужденіемъ; и потому
Неждановъ, сознавая свое драматическое безеніе, признается:
«Одургузила меня жизнь».

ГЛАВА IX.

XII. *Довласъ*.—Зачѣмъ,—спрашиваетъ самъ Тургеневъ о Ру-
динѣ,—не принадевался для Довласомъ, эту справедливость отда-
тъ ему слѣдуетъ, сблизъ онъ съ толку бывшую дѣвушку?»

Довласъ—герои романа англійскаго писателя Самюэля Ричард-
сона «Кларисса», или исторія молодой дѣвушки, заключающая въ
себѣ важнѣйшія отношенія семейной жизни и въ особенности отеря-
вающихъ несчастія, которыя происходятъ, когда родители и дѣти не-
предусмотрительны въ дѣлахъ брака» (1748 г.). «Довласъ—дичентль-
мень тогдашняго высшаго свѣта, ловкій, обязательный, рыцарскій,
но и развратный, для котораго женская красота и невинность соста-
вляютъ только привлекательную приманку его необузданной стра-
сти». (Геттнеръ, «Исторія всеобщей литературы», т. I, 378, изд.
1896 г.) Героиня романа Кларисса Гарлоу, нелюбимая въ семей-
ствѣ дочь, спасаясь отъ домашняго гнета, отдаетъ себя подъ покрови-
тельство Довласа, который обольщаетъ ее самымъ преступнымъ
способомъ, прибѣгнувъ къ ошуму.

Имя Довласа было очень популярно въ Россіи въ первомъ поло-
винѣ XIX вѣка. Слывомъ Довласа прельщався въ юности Евгений
Онегинъ; когда мать Татьяны была еще дѣвушкою, она увлекалась
героями Ричардсона: Грандисономъ и Довласомъ, потому что
«княжна Полина, ея московская кузина, *повсрнула* часто ей объ
нихъ».

XIII. *Свиданіе Рудина съ Натальей и Авдѣиномъ прудомъ*.—Литерату-
рные критики различно посматривали на сцену у Авдѣихина пруда:
одни основывали на ней положительную характеристику героини,

другіе видѣли въ сценѣ свиданія Натальи съ Рудинымъ только проявленіе ея необдуманной страсти къ послѣднему.

На основаніи этой сцены идеализируетъ Наталья С. А. Венгеровъ: «Наталья.—говоритъ онъ,—женщина дѣла, а не одного лишь слова. Разъ она чѣмъ-нибудь прониклась, она не останавливается ни передъ чѣмъ въ достиженіи своей цѣли. Какъ неизмѣримо выше Рудина становится она тогда, когда, несмотря на угрозы матери, рѣшается бросить свое обезпеченное положеніе, чтобы раздѣлится съ любимымъ человѣкомъ горе и нужду... Поведеніе ея настолько достойно, настолько внушаетъ къ себѣ уваженіе и почтеніе, что Рудинъ теряется и ничему не можетъ возразить противъ ея проникнутыхъ негодованіемъ на него нападокъ. Здоровая логика Натальи не даетъ Рудину возможности пустить въ ходъ столь излюбленное имъ оружіе диалектики, и онъ, посрамленный, долженъ удалиться съ поля сраженія».

И. В. Шелгуновъ, наоборотъ, видитъ въ сценѣ свиданія положительноя стороны личности героя и отрицательныя героини, проявляющей «неразуміе и неспособность видѣть и оцѣнить послѣдствія». — «Вы струсили,—говоритъ Тургеневская героиня Тургеневскому герою;—я же готова съ вами на край свѣта»... И нужно сказать правду, что въ трусости героя гораздо больше ума, чѣмъ въ отважности героини. Героиня дѣйствуетъ по короткому порыву; она только желаетъ страстибѣ и требуетъ немедленнаго удовлетворенія своей страсти... Разумѣется, герои были правы, когда отклоняли неопытныхъ дѣвушекъ отъ подобнаго нахѣренія».

А. М. Скабичевскій за сцену у Авдюхина пруда обрушился на самого Тургенева, сдѣлавъ на основаніи ея выводъ объ узости міросозерцанія автора: «Рудинъ не захотѣлъ всего себя посвятить счастью любимой женщины, следовательно, онъ неспособенъ любить; Рудинъ, которому и одному-то жутко на свѣтѣ, не захотѣлъ взвалить себя на шею ношу въ видѣ жены, избалованной прежнею жизнью, следовательно, онъ — безхарактерный трусъ. Г. Тургеневъ никакъ не могъ представить себѣ энергическаго, храбраго, любящаго человѣка въ иномъ видѣ, какъ не героемъ, отважно похищающимъ сабинянку, чтобы потомъ быть готову броситься для нея въ воду».

Въ этихъ словахъ Скабичевского нѣтъ объективности. Они были написаны въ 1867 году, когда Тургеневъ, порвавъ съ журналомъ «Современникъ», стоявшемъ во главѣ передоваго направленія русской общественной мысли, сталъ подвергаться нападкамъ со стороны либеральныхъ круговъ и, между прочимъ, со стороны Герцена въ «Колоколѣ», за переходъ въ консервативный «Русскій Вѣстникъ» Каткова и за осмѣяніе крайнихъ общественныхъ теченій въ романѣ «Дымъ». Скабичевскій былъ правоверный шестидесятникъ, и съ этой стороны необходимо подонти въ его обвиненія Тургенева за сцену у Авдюхина пруда: въ его художественную критику примѣшались общественно-партийныя отношенія къ писателю.

ГЛАВА XI.

XLIII. *Сравненіе Рудина съ Донъ-Кихотомъ.*—По отъѣздѣ отъ Ласунской Рудинъ говорить провожающему его Басистову: «Помните ли вы, что говорить Донъ-Кихоть своему оруженосцу, когда выѣзжаетъ изъ дворца герцогини? Свобода,—говоритъ онъ,—другъ мой Санчо, одно изъ самыхъ драгоценныхъ достоинствъ человѣка, и счастливъ тотъ, кому небо даровало кусокъ хлѣба, кому не нужно быть за него обязаннымъ другому! Что Донъ-Кихоть чувствовалъ тогда, я чувствую теперь»...

Слова Донъ-Кихота о свободѣ находится въ LXIII главѣ II тома «Донъ-Кихота» Сервантеса. Рудинъ приводитъ только основную мысль, Донъ-Кихоть говорить пространнѣе: «Свобода, Санчо, это драгоценнѣйшее благо, дарованное Небомъ человѣку. Ничто не сравнится съ нею: ни сокровища, скрытыя въ недрахъ земныхъ, ни скрытыя въ глубинѣ морской. За свободу и честь человѣкъ долженъ жертвовать жи знью, потому что рабство составляетъ величайшее земное бѣдствіе. Ты видѣлъ, другъ мой, изобиліе и роскошь, окружавшія насъ въ замкѣ герцога. И что же, вкушая эти изысканныя яства и замороженные напѣтки, я чувствовалъ себя голоднымъ, потому что пользовался ими не съ той свободой, съ какою пользовался бы своею собственностью; чувствовалъ себя обязаннымъ за милости, значить налагать оковы на свою душу. Счастливъ тотъ, кому Небо дало кусокъ хлѣба, за который онъ можетъ благодарить только Небо».

А. В. Дружининъ въ своемъ разборѣ романа пользуется эпизодомъ цитированія Рудинимъ словъ Донъ-Кихота для сравненія характера его перескакиваній съ чувствами Натальи Ласунской: послѣдняя живетъ любимымъ избранникомъ, не говоря ни одной фразы; Рудинъ, въ свою очередь, такъ и сыплетъ фразами, а расстаившійся съ любящей дѣвушкой, воспоминаетъ слова Донъ-Кихота Санчо-Пансѣ: «Свобода, другъ мой Санчо, это одно изъ драгоценнѣйшихъ достоинствъ человѣка!» Вотъ что говорить Рудинъ въ тѣ минуты, когда у любящей дѣвушки сердце разрывается на части!»

XLIV. *Письмо Рудина къ Натальѣ.*—Н. И. Ивановъ, характеризующій Рудина, какъ «московскаго Чампль-Гарольда сороковыхъ годовъ», какъ личность нечоринскаго типа (см. XXVIII) въ письмѣ Рудина къ Натальѣ видитъ подтвержденіе своего мнѣнія.

«Онъ,—говоритъ критикъ про Рудина,—въ послѣдній разъ обращается къ ней послѣ разлуки, повергнувшей ее въ отчаяніе. И неужели у него не нашлось бы простыхъ сердечныхъ словъ, даже въ эту минуту, если бы для него разлука являлась дѣйствительно лишеніемъ, разрывомъ съ единственно дорогихъ человѣкомъ? У Рудина совершенно не оказывается такихъ словъ, онъ письмо сочиняетъ, какъ нѣкую адвокатскую рѣчь, по всѣмъ правиламъ риторики, съ умными разсужденіями, съ чувствительными изліяніями, съ лирическими

безпорядкомъ и безчисленными многоточіями. Вотъ разсказъ объ этихъ странныхъ минутахъ «несчастнаго любовника».

«Онъ очень долго сидѣлъ надъ этимъ письмомъ, многое въ немъ перемаривалъ и передѣлывалъ и, тщательно списавъ его на тонкомъ листѣ почтовой бумаги, сложить его какъ можно мельче и положить въ карманъ. Съ грустью на лицѣ прошелся онъ въскользко разъ взадъ и впередъ по комнатѣ, сѣлъ на кресло передъ окномъ, подперевъ рукою; слеза тихо выступила на его рѣсницы... Онъ всталъ, застегнулся на все пуговицы, позвалъ человѣка и велѣлъ спросить у Дарьи Михайловны, можетъ ли онъ ее видѣть».

«Вы чувствуете проищескій тонъ разсказчика, и это вполне естественно. Вся сцена искусственна, театральна. Рудинъ не забываетъ играть роль во всякомъ положеніи, «слыются ли рѣчкой» его слова или тихая слеза выступаетъ на его рѣсницы... Самое письмо лишено цѣльнаго чувства, лишено даже открытой объединяющей идеи. Сначала Рудинъ изображаетъ себя осужденнымъ на вѣчное одиночество: это величественная картина, намекъ на демоническую карьеру. Въ концѣ письма другой мотивъ пертурбованныхъ страданій: самобичеваніе. Онъ — «неоконченное существо», онъ «весь разсыпался при первомъ пренятствіи», «внутался отъ вѣтственности», и поэтому «достоинъ» Натальи».

Очевидно, одно представленіе уничтожаетъ другое. То герой вообще врядъ ли способенъ «любить любовью сердца», то, подобно, онъ бѣжитъ отъ ответственности... Письмо, такимъ образомъ, въ послѣднихъ аккордахъ воспроизводитъ излюбленную тему бавроническихъ рѣчей Рудина: гениальничанье рядомъ съ самоуничтоженіемъ, рассчитаннымъ на созвучныя волненія женскаго сердца».

Что письмо къ Натальѣ идетъ отъ ума, а не отъ сердца Рудина, и что въ этомъ письмѣ онъ стремится сохранить за собою позу, вызывающую сочувствіе, видно изъ словъ автора, вставленныхъ въ середину письма: «Здѣсь Рудинъ разсказалъ, было, Натальѣ свое посѣщеніе у Волынцева, но подумавъ и вымѣривъ все это мѣсто, а въ письмѣ къ Волынцеву прибавить второй *postscriptum*». Въ этомъ *postscriptum*ѣ Рудинъ проситъ Волынцева «не упоминать» передъ Натальей о посѣщеніи имъ послѣдняго. Объясняется это тѣмъ, что въ самомъ Рудинѣ посѣщеніе имъ Волынцева оставило очень непріятное воспоминаніе. Тургеневъ такъ разсказываетъ объ этомъ: «Рудинъ вернулся домой (отъ Волынцева) въ состояніи духа смутномъ и странномъ. Онъ досадовалъ на себя, упрекалъ себя въ непростительной опрометчивости, въ мальчишествѣ. Не даромъ сказавъ кто-то: нѣтъ ничего тягостнѣе сознанія только что сдѣланной глупости».

! «Раскаяніе грызло Рудина».

«Чортъ меня дернулъ, — шептать онъ сквозь зубы, — свѣдѣть къ этому помѣщалу. Вотъ пришла мысль! Только на дерзости на-праниваться!..»

Понятно, что Рудину не хотелось, чтобы его «прометчивый», «непростительный» и «мальчишеский» поступок дошелъ до свѣдѣнія Натальи.

Форма обращенія этого письма Рудина: любезная (любезный, любезнѣншій)—обычна въ частныхъ письмахъ какъ Тургенева, такъ и другихъ его современниковъ. Въслѣдствіи она была вытѣснена иными формами обращенія и стала даже казаться недостаточно вѣжливой. Такъ, известный художникъ-баталистъ В. П. Верещагинъ, переписывавшійся съ Тургеневымъ, по какъ-то возмущившійся его генеральскимъ обхожденіемъ, перенесъ свое возмущеніе и на имѣвшійся у него письма Тургенева: «Какой и ему любезный!»—говорить Верещагинъ по поводу обычного для Тургенева обращенія. Напрасно его убѣждали, что Тургеневъ ко всѣмъ такъ обращается,—Верещагинъ остался при убѣжденіи, что обращеніе—любезный показываетъ высокомерное отношеніе Тургенева къ своему адресату, и сжегъ все бывшія у него письма автора «Рудина».

XIV. *Душевное состояніе Натальи послѣ полученія письма Рудина.* Изобразя душевное состояніе Натальи послѣ прочтенія ею письма Рудина, авторъ говоритъ: «Она сидѣла не шевелясь; ей казалось, что какія-то темныя волны безъ плеска сомкнулись надъ ея головой, и она шла ко дну, застывая и вѣмѣя».

Тургеневъ въ своей литературной работѣ иногда пользовался удачными выраженіями собственной частной переписки. Такъ, нѣкоторыя мѣста изъ писемъ его къ С. Т. Аксакову вошли въ романъ «Отцы и дѣти» (XI глава); нѣсколько строкъ одного письма Тургенева къ Фету такъ же вошли въ данный романъ (въ VII главѣ). Последнія слова приведенной цитаты взяты Тургеневымъ изъ своего письма къ Е. М. Осетрнстову отъ 1852 г. 26 февраля. Именно, сообщая о своихъ чувствахъ по поводу смерти Гоголя, Тургеневъ пишетъ: «Мнѣ, право, кажется, что какія-то темныя волны безъ плеска сомкнулись надъ моею головой,—и я иду на дно, застывая и вѣмѣя». (Н. М. Гутъяръ, «Творчество Н. С. Т., процессъ его и пріемы».)

XV. *«Кто чувствовалъ, того тревожитъ»...*—изъ «Евгенія Онегина», I, XVI.

ГЛАВА XII.

XV. *Корчагинъ.*—По поводу предложенія, едѣланнаго Колышчевымъ Натальѣ, и согласія ея и Дарьи Михайловны на это, Лямкинъ спрашиваетъ Басенкова: «Сказки пожалуйста, до насъ доходили слухи о какомъ-то господинѣ Корчагинѣ. Стало-быть, это былъ вадоръ?»

(Корчагинъ былъ красивый молодой человѣкъ—сѣтскій лезъ, чрезвычайно надутый и вазанный: онъ держался необыкновенно величественно, точно онъ не жидокъ-человѣкъ, а собственная своя статуя, воздвигнутая на общественной подпиркѣ.)

— Ну, нѣтъ, не совѣмъ вадорь, — съ улыбкой возразилъ Васястовъ: — Дарья Михайловна очень къ нему благоволила; но Наталья Алексѣевна и слышать о немъ не хотѣла.

Какой художественный смысл имѣеть это упоминаніе о Корчагинѣ, при томъ сопровождаемое его характеристикой?

Вводя въ исторію Натальи Масуенской эпизодъ съ Корчагинымъ, къ которому Дарья Михайловна «очень благоволила», Тургеневъ устраняетъ возможность предположенія со стороны читателя, что Наталья выходитъ замужъ за Волынцева не по своей волѣ и не въ силу личныхъ симпатій, а, подобно Татьянѣ Маринон, потому, что для нея уже «всѣ были жребіи равны» послѣ того, какъ ее постигъ ударъ въ ея первой некрещеной любви. Критикъ Н. В. Анненковъ на основаніи этого видѣтъ въ Татьянѣ «неспособность къ сдѣлкамъ съ своею совѣстью». Тургеневъ могъ опасаться этого и потому желалъ подтвердить нравственную самостоятельность своей героини, которая руководится только своими чувствами, а не честолюбивыми стремленіями матери, не гонится за вѣнчикомъ положеніемъ въ свѣтѣ и потому даже не хочетъ слышать о людяхъ, которыя не нравятся ей, хотя бы онѣ въ этомъ свѣтѣ и играли «роль не изъ послѣднихъ».

XLVIII. Націоналистическія идеи Лежнева. — Несчастье Рудина, — говоритъ Лежневъ, — состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это, точно, большое несчастье. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ, вдвойнѣ горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ — чепуха, космополитъ — нуль, хуже нуля; вѣтъ народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ фizioноміи нѣтъ даже идеальнаго лица; только пошлое лицо возможно безъ фizioноміи».

Относительно происхожденія этой проповѣди народности Д. Н. Озьянко-Куликовскій приводитъ такое соображеніе:

«Рудинъ» былъ написанъ какъ разъ въ то время, когда произошло нѣкоторое сближеніе между Тургеневымъ и славянофилами, когда поэтъ поддерживалъ дружескую переписку съ Аксаковыми. Можно предположить нѣкоторое вліяніе со стороны послѣднихъ... Это вліяніе я представляю себѣ въ слѣдующемъ видѣ. Тургеневъ не усвоилъ (и не могъ усвоить) доктрины славянофильства, не могъ стать на точку зрѣнія этой партіи, но онъ, какъ вдумчивый и чуткій художникъ, долженъ былъ заинтересоваться самымъ фактомъ появленія людей, проводившихъ принципы народности, идеалистовъ, влюбленныхъ (если можно такъ выразиться) въ русскую національность и стремившихся сознательно обосновать на ея началахъ и поэзію, и всякое творчество и общественные, даже политическіе идеи и идеалы. Вспомнимъ, что въ ту эпоху, — въ ноловинѣ 50-хъ годовъ, — независимо отъ славянофильской пропаганды, интересъ къ народности сталъ распространяться въ широкихъ кругахъ общества, и уже возникало своеобразное умственное теченіе, занимавшее какъ бы середину между демократическимъ сла-

славянофильствомъ и радикальнымъ западничествомъ, — народничество, въ которомъ вскорѣ должны были объединиться лучшіе элементы того и другого. Интересъ къ народу и сочувствіе къ нему, все усиливавшіяся въ виду мелькавшей вдали, въ предразсвѣтномъ туманѣ безвременья, крестьянской реформы, оживляли и самое чувство народности. Тургеневъ не могъ остаться незатронутымъ этими вѣяніями. Они отразились уже въ «Запискахъ охотника», именно въ отдѣльномъ изданіи ихъ 1852 года. Три года спустя поэтъ отдалъ дань новому вѣянію въ «Рудинѣ» вышеприведенной тирадой, вложенной въ уста Лежнева. Но это не значитъ, конечно, что въ фигурѣ Лежнева Тургеневъ хотѣлъ изобразить славянофильское умонастроеніе 40-хъ годовъ. Въ защиту идеи народности выступали тогда не одни славянофилы. Во всемъ остальномъ, что говоритъ Лежневъ, не видать сколько-нибудь ясныхъ признаковъ самой доктрины славянофильства. Въ энтузіазмѣ, съ которымъ Лежневъ говоритъ о народности, сквозитъ одно: сознаніе нѣкоторой отвѣченности и безответности пропаганды Рудина, мысль, что нужно изучать Россію, народъ и, путемъ такого изученія, добиться обоснованія на національной почвѣ тѣхъ общечеловѣческихъ идеаловъ, проводникомъ которыхъ является Рудинъ. Если видѣть здѣсь народническую, въ тѣсномъ смыслѣ, идею, окрѣпшую и распространившуюся позже, то пришлось бы тираду Лежнева признать нѣкоторымъ анахронизмомъ. Но въ словахъ Лежнева мы видимъ только энтузіазмъ къ идеѣ народности, а вовсе не тотъ культъ самого народа, которымъ по преимуществу и характеризуется народничество, зачинавшееся въ 50-хъ годахъ. Идея Лежнева, собственно говоря, не народническая, а націоналистическая, и онъ легко могъ проникнуться ею не только подъ вліяніемъ ученія славянофиловъ 40-хъ годовъ, но и подъ впечатлѣніемъ того, что писалъ на эту тему Бѣлинскій».

Дѣйствительно въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго мы постоянно сталкиваемся съ проповѣдью національности, начиная съ его первой большой статьи — «Литературныя мечтанія» (1834 года). Въ «Очеркахъ Бородинскаго сраженія» (1839 г.) находимъ близкое къ тирадѣ Лежнева разсужденіе Бѣлинскаго о національности и космополитизмѣ: «Всякій народъ отличается единствомъ языка, а слѣдовательно и характера мысли, взгляда на вещи и способа понимать ихъ (потому что языкъ есть осуществившееся, явившееся понятіе), единствомъ религіи, образа правленія, родовымъ сходствомъ въ образѣ внѣшней жизни, наконецъ, семейственнымъ сходствомъ физіономіи составляющихъ его индивидуумовъ, такъ что трудно не узнать по одному лицу англичанина, француза, нѣмца, итальянца, татарина и т. д. Это сходство, это единство, это родство — священные, потому что основаніе ихъ плоть и кровь, какъ перво-сущныя формы духа. И вотъ почему космополитъ есть какое-то ложное, двухмысленное, странное и непонятное явленіе, какой-то блѣдный, туманный призракъ, а не яркая и живая дѣйствительность».

Д. Н. Овсянко-Куликовски говорить, что Лежневъ могъ прикнуться націоналистическими тенденціями не только подъ вліяніемъ проповѣди славянофиловъ, но и подъ вліяніемъ статей Бѣлинскаго. Здѣсь упустило изъ виду одно, что Лежневъ самъ членъ того кружка, изъ котораго одни примкнули къ славянофиламъ, какъ Аксаковы, Ю. Самаринъ; другіе, какъ Бѣлинскій, Бакунинъ,—къ западникамъ. Въ историческомъ же кружкѣ Станкевича, гдѣ господствовали Шеллингъ и Гегель, съ ихъ ученіемъ о проявленіи мірового духа въ національно-исторической сущности отдельныхъ народовъ, идеи національности не могли не занимать умы членовъ кружка, и здѣсь у однихъ выработался болѣе сильный наклонъ мысли къ славянофильству, у другихъ—къ западничеству. Лежневъ Тургеневъ, очевидно, желалъ изобразить примыкающимъ къ первому теченію. Если же въ словахъ Лежнева «не видать сколько-нибудь ясныхъ признаковъ самой доктрины славянофильства», то это согласно съ общими художественными приѣмами изображенія въ романѣ Рудинъ. Тургеневъ вообще избѣгаетъ прямыхъ и точныхъ указаній на действительные факты: оттого въ изложеніи и самъ кружокъ Покорскаго нѣтъ определенныхъ признаковъ ни шеллингианства, ни гегелианства: оттого Покорскій—бѣдвякъ, въ противоположность Станкевичу, котораго онъ изображаетъ; оттого Рудинъ—только психологическій намекъ на Бакунина.

Кромѣ вопроса объ общественномъ источникѣ національныхъ идей, выраженныхъ въ романѣ, есть другой вопросъ о томъ, что побуждало Тургенева выступить съ проповѣдью національности и съ этой стороны освѣтить «несчастье» Рудина.

Обстоятельства къ этому можно видѣть въ самомъ времени написанія романа—въ разгарѣ Севастопольской кампаніи. Какъ всякая война, угрожающая государству, она породила подъемъ національныхъ чувствъ и осужденіе космополитизма. Одинъ современникъ заноситъ въ это время въ свой дневникъ такіа слова: «Всего болѣе боялись мы и стыдились быть русскими! Обезьяны Европы! И звучный, вышннз, благородный языкъ свой мы представили употребленію, какъ сами говоримъ, непросвѣщенной массы народа... Мы накликали на себя кару Провидѣнія Божія!» (Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, XIII, 37). Это національное теченіе, наконецъ, становится настолько популярнымъ, что въ роликъ ея въ ничто незначущую вѣщность. Поэтому въ то время серьезно поспѣшилъ съ мыслью переименовать камергеровъ въ столѣниковъ, камеръ-юнкеровъ въ ключниковъ, а нѣкоторыя дамы рѣшили замѣнить парижскіе фисоны русскими сарафанами.

Именно, подъ вліяніемъ общаго настроенія въ эпоху войны Тургеневъ высказался въ защиту народности и противъ космополитизма.

XLIX. Настоящность въ характерѣ Рудина. — Рудинъ разсказываетъ Лежневу въ эпизодѣ: «Шесть мѣсяцевъ прожили мы въ землянкахъ. Курбцовъ однимъ хлѣбомъ питался, я тоже не до-ѣдалъ».

Н. М. Гутыяръ въ книгѣ «Н. С. Тургеневъ» (1907 г.) пишетъ: Слабохарактерность Рудина усматриваютъ обыкновенно въ его послѣднемъ отказѣ отъ рѣшительныхъ мѣръ при послѣднемъ свиданіи съ Виталиемъ, въ его какъ бы трусливомъ отступленіи передъ действіемъ. Но при чемъ здѣсь боя, крѣпость ея какъ была? Когда Рудинъ не любилъ омарованной имъ девушки? Усматриваютъ также, какъ на призывъ слабоумія, на практическую безрезультатность стремленій Рудина. Но развѣ упорный, постоянный порывъ къ дѣятельности, проявляемый имъ, есть признакъ безхарактерности? Съ тѣхъ поръ, какъ и разстался съ тобой, говорилъ онъ Лешкову, и переносилъ и переносилъ многое... Глупица! я жить, принимаюся за новое раздѣланіе. Человѣкъ, запущенный болн, не станетъ плакать, не станетъ горючить и съ удивленіемъ братья за новое дѣло, потерпѣвъ неудачу на предыдущемъ. Неужели неестественное толодѣніе въ земляникахъ за разработкой проекта углубленія рѣки въ кампаніи съ Курбцовымъ есть признакъ отсутствія характера?»

4. *Учительство Рудина.* Учительство Рудина очень напоминаетъ профессорство въ университетѣ св. Владиміра упомянутого выше поэта Василия Ивановича Красова (XXXII). Слушавшіи его лекціи М. К. Чалый такъ характеризуетъ ихъ въ своихъ воспоминаніяхъ: Красовъ читалъ теорію красноречія, но въ вліяніи минуты, съ необыкновеннымъ жаромъ, но безъ обдуманнаго плана и предварительнаго подготовленія. Ему недоставало ни свидѣній, ни терпѣнія къ приобретению познаній. Восторженное состояніе, въ которомъ онъ находился постоянно, было сроднѣ слуху ораторовъ, божественно развитой на счетъ другихъ душевныхъ силъ. Дилетантизмъ, нетерпимый въ наукѣ, въ школахъ московскихъ словесниковъ приобрѣтъ, такъ сказать, право гражданства: науку о словѣ они третировали не какъ науку, а какъ искусство красноречія. Подложный жаръ, звучныя фразы, неестественная нагость, театральныя жесты захватили у нихъ естественное, строгое научное изложеніе предметовъ.

Особенно характерно отношеніе Красова къ наукѣ сказывается на его диспутѣ. Ректоръ Неволнинъ, —разказываетъ Чалый, —предложилъ Красову вопросъ, что такое изиціе? Красъ всенхъ возумныхъ опредѣленій, восторженныя помы слышать однимъ лишь примѣрами и сравненіями. Воображеніе, —говоритъ, —верно опредѣляетъ бурю, напавшій надъ пронастью слани, озаренныя блескомъ молній... прочтите стихотвореніе Пушкина: «Ты видѣлъ двуна скады». Однимъ словомъ, —сказавъ въ заключеніе Красовъ, —предраснаго опредѣлить невозможно; его только можно чувствовать. Нельзя же, г. Красовъ, быть докторомъ чувствительности, —замѣтилъ съ ядовитой улыбкой К. А. Неволнинъ и тѣмъ заключилъ преніе». (Статьи по повѣстной русской литературѣ академика Н. П. Давиденкова).

Рудинъ, излагавшій то, что было у него на душѣ, былъ также болѣе учителемъ чувствительности, чѣмъ русскаго словесности.

II. *Рудинъ и Гамлетъ Щигровскаго двѣзда*. Рассказывая о своей неудачной педагогической дѣятельности, Рудинъ заканчиваетъ слѣдующими словами: «Я принужденъ былъ выйти въ отставку. И этимъ не ограничился, я хотѣлъ показать, что со мною нельзя поступить такъ... но со мною можно было поступить, какъ угодно... И теперь долженъ выѣхать отсюда».

Рудинъ переоцѣниваетъ общественное значеніе своей личности. Но окружающее общество, видя въ Рудинѣ фразера, перестаетъ чувствовать въ немъ нравственную силу и никакъ не считается съ нимъ. Онъ оказывается «куцымъ», по характеристикѣ Писасова, но поздно уразумѣваетъ это.

Совершенно такое же положеніе находимъ въ «Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда». Герой разсказа Василій Васильевичъ долго считаетъ себя значительною личностью, но разговоръ съ исправникомъ открываетъ ему глаза на отношеніе къ нему общества. Когда Василій Васильевичъ сказалъ исправнику, что онъ такъ же могъ бы претендовать на выборы въ предводители, какъ и нѣкій помещикъ Орбессановъ, который не отличался ни богатствомъ, ни знатностью, — исправникъ возразилъ на это: «Охъ, Василій Васильевичъ, не намъ бы съ вами о такихъ людяхъ разсуждать: гдѣ намъ? Знаи сверчокъ свой шестокъ...»

«Завѣса,—рассказываетъ Василій Васильевичъ,—спала съ лица моихъ; я увидалъ ясно, ясно, чѣмъ лицо свое въ зеркалѣ, каковъ я былъ пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человѣкъ».

То же нравственное сознаніе и въ словахъ Рудина: «но со мною можно было поступить, какъ угодно».

III. *Противорѣчіе въ словахъ Рудина*.—Рудинъ говоритъ Лежневу: «Помнишь, когда мы съ тобой были за границей, я былъ тогда самонадѣянъ и ложенъ... Точно, я тогда ясно не сознавалъ, чего я хотѣлъ, я увивался словами и вѣрилъ въ призраки; но теперь, клянусь тебѣ, я могу громко, передо всѣми высказать все, чего я желаю. Мнѣ рѣшительно скрывать нечего: я выполнѣ, я въ самой сущности слова, человѣкъ благонамѣренный; я смиряюсь, хочу примѣниться къ обстоятельствамъ, хочу малаго, хочу достигнуть цѣли близкой, принести хотя ничтожную пользу. Нѣтъ! не удастся! Что это значитъ? Что мѣшаетъ мнѣ жить и дѣйствовать, какъ другіе?... И только объ этомъ теперь и мечтаю. Но едва успѣваю я войти въ опредѣленное положеніе, остановиться на извѣстной точкѣ, судьба такъ и содретъ меня съ нея долой... Я сталъ бояться ея—моей судьбы...»

Этотъ мотивъ стремленія неудачника, «лишняго человѣка» къ примиренію съ жизнью встрѣчается уже въ «Дневникѣ лишняго человѣка». Герой послѣдняго Чулкатуринъ считалъ счастьемъ «найти пріютъ, свить себѣ хотя временное гнѣздо, узнать отраду ежедневныхъ отношеній и привычекъ».

Но у Рудина этотъ мотивъ противорѣчитъ всему тому, что онъ только что разсказалъ Лежневу. Онъ говоритъ, что когда-то, давно

онъ вѣрилъ въ призраки, а теперь хочетъ малаго, и тѣмъ не жется судьба всякій разъ сталкивала его съ зайтою имъ точки. На самомъ дѣлѣ, ничего подобнаго нѣтъ въ передаваемыхъ самимъ Рудинимъ фактахъ своей жизни. Когда онъ поселился у богача-помѣщика, его «планы были громадныя»; съ Курбѣвыми Рудинъ стремился осуществить одинъ изъ тѣхъ «самыхъ смѣлыхъ, самыхъ неожиданныхъ» проектовъ, которые «такъ и кипѣли на умѣ» Курбѣва, и, сдѣлавъ судоходную рѣку, они надѣялись получить «огромныя выгоды»; въ гимназій Рудинъ захотѣлъ «коренныхъ преобразований». Такимъ образомъ, нигдѣ не видно это желаніе малаго, о которомъ говоритъ Рудинъ. Въ этомъ — противорѣчіе между словами Рудина и дѣйствительностью, но не противорѣчіе въ его характерѣ. Покаянныя слова героя о смиреніи и желаніи малаго, это — форма, имѣющая цѣлью вызвать состраданіе къ нему, какъ къ вѣчно гонимому судьбою страннику жизни. Рудинъ не въ первый разъ уже представляетъ себя въ такомъ свѣтѣ. Когда онъ жилъ у Ласунской и, по выраженію Лежнева, былъ у нея «великимъ визиремъ», въ разговорѣ съ Натальею онъ и тогда представлялъ себя безпріютнымъ скитальцемъ: «Мнѣ остается теперь тащиться по знойной и пыльной дорогѣ, со станціи до станціи, въ тряской телегѣ», — такова его судьба! Въ письмѣ къ Натальѣ Рудинъ удивляется своей «странной, почти комической судьбѣ». Въ разговорѣ съ Лежневымъ судьба является уже трагическимъ началомъ: «Я сталъ бояться ея — моей судьбы», говоритъ Рудинъ. Слѣдовательно, изображеніе себя въ обвиненіи, вызывающемъ сочувствіе, — одна изъ чертъ въ характерѣ героя, проходящая черезъ весь романъ. Эта черта — безусловно историческая. «Принимъ глубоко-трогательный видъ», Печоринъ также прибѣгаетъ къ возбужденію состраданія, рассказывая княжкѣ Мери о томъ, какъ онъ былъ готовъ любить міръ, но его никто не понялъ — и проч.

III. «Смерть должна примирить». — «Ты всегда быть строгъ ко мнѣ, — говоритъ Рудинъ Лежневу, — и ты быть справедливъ; но не до строгости теперь, когда уже все кончено, и масла въ лампадѣ нѣтъ, и сама лампада разбита, и вотъ-вотъ, сейчасъ докурится фитиль... Смерть, братъ, должна примирить наконецъ...»

Окаблчевскій даетъ такую двойственную характеристику Рудину. «Если въ первой части онъ является передъ нами Гамлетомъ, то во второй части онъ Донъ-Кихотъ въ полномъ смыслѣ этого слова». Повидимому, образъ Донъ-Кихота дѣйствительно влиялъ въ сознаніи Тургенева, когда онъ писалъ эпилогъ романа. Такъ, послѣднія слова: «Смерть, братъ, должна примирить наконецъ...» очень напоминаютъ предсмертныя слова Донъ-Кихота, обращенныя имъ къ друзьямъ: «Вздоръ — увы! — наполнилъ всю мою жизнь. Да, этотъ вздоръ былъ слишкомъ дѣйствителенъ, и дай Богъ, чтобы хоть смерть моя могла сколько-нибудь оправдать меня». («Донъ-Кихотъ», т. II, LXXIV).

IV. «Наши дороги разошлись». — «Наши дороги разошлись, — говоритъ Лежневъ Рудину, — можетъ быть, именно оттого, что,

благодаря моему состоянию, холодной крови, да другимъ счастливымъ обстоятельствамъ, ничто мнѣ не мѣшало сидѣть, сидѣть, да оставаться зрѣть, сложивъ руки; а ты долженъ былъ выйти на поле, засучивъ рукава, работать. Наши дороги разошлись... но посмотри, кѣмъ мы близки другъ другу. Въѣдь мы говоримъ съ тобой почти однимъ языкомъ, съ полудамека понимаемъ другъ друга; на однихъ чувствахъ выросли. Въѣдь ужъ мало насъ остается, братья; вѣдь мы съ тобой послѣдніе могилане! Мы могли расходиться, даже враждовать въ старые годы, когда еще много жизни оставалось впередъ; но теперь, когда гонимъ рѣдкость вокругъ насъ, когда новыя поколѣнія идутъ мимо насъ къ не нами, къ намъ, намъ на юбно крѣпко держаться другъ за друга.

Въ словахъ Лейкева нѣтъ достаточной определенности. Съ одной стороны, говоря Рудину, что ихъ дороги разошлись, онъ понимаетъ это въ чисто личномъ, бытовомъ значеніи, объясняя смыслъ своихъ словъ указаніемъ на свое богатство и бѣдность Рудина. Съ другой стороны, указывая на то, что новыя поколѣнія идутъ мимо нихъ, къ не ихъ дѣляемъ, и что имъ надобно крѣпко держаться другъ за друга, Лейкевъ придаетъ словамъ: «завши дороги разошлись» общій идеинный смыслъ. Въ романѣ эти слова и не могли получить полной определенности. Личный характеръ автора не долженъ былъ придать имъ потому, что Лейкевъ разошелся съ Рудинымъ по личнымъ причинамъ. Но Тургеневъ изображалъ не просто характерныя личности, а русское общество въ извѣстномъ періодъ его развитія. — отсюда слова «завши дороги разошлись» получаютъ общественный смыслъ. Националистическая тирада Лейкева даетъ ху общественное оправданіе этому. Не будь ея, читатели едва ли не могли бы опредѣлить, было ли идеинное разногласіе между Лейкевымъ и Рудинымъ. Проникнувъ национализма со стороны Лейкева даетъ намекъ на такое разногласіе: Лейкевъ былъ, очевидно, идеино ближе къ славянофильству, Рудинъ — къ западничеству, но оба они развивались изъ однихъ и тѣхъ же корней, и потому близки другъ къ другу (см. XLVIII).

Къ словамъ Лейкева можно привести историческія параллели во всеобщихъ отношеніяхъ славянофильствъ и западничества 40-хъ годовъ.

Въ 1844 году, передъ съѣздомъ Герцена, — иль споры дошли до того, что имъ сдѣлать, вы мы не хотѣли больше бороться... Особенно возмущающъ отношеніемъ къ славянофильству отлучался Бюлинскій: «Иль — иль съ Герценомъ, — съ филистелами за однимъ столомъ быть не могу». Тѣмъ не менѣе, между западниками и славянофилами 40-хъ гг. чувствовалась тѣсная идеинная связь. А. И. Герценъ писалъ по поводу смерти «дешагого бонна славянофильства» К. С. Аксакова (ум. 1860 года): «Большо любили, любившимъ ихъ (с.е. К. С. Аксакова и А. С. Хомяковъ, умеревшихъ въ томъ и — году), знаютъ, что дѣлать больше, ближе дѣлать, сдѣлать одиородныхъ, неутомимыхъ, что вѣдь этихъ противниковъ, которые ближе намъ были многихъ своихъ... Да, мы были противниками ихъ, но — споръ

страстными. У насъ была одна любовь, но неодинаковая. У двухъ и у насъ задало съ разныхъ дѣтъ одно сильное, безотчетное, физиологическое, странное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы за пророчество, — чувство безграничной, охватывающей все существованіе, любви къ русскому народу, къ русскому быту, къ русскому складу ума. И мы, какъ Игуль, смотрѣли въ разные стороны, въ то время какъ сердце было одно».

Говори о «своихъ», которые не такъ близки, какъ противники-славянофилы, Герценъ имѣетъ въ виду такихъ представителей русской общественной мысли, какъ Н. Г. Чернышевскій и Н. А. Добролюбовъ. Они были такими же прогрессистами, какъ и Герценъ, но между ними и имъ не могло быть душевной близости, такъ какъ они выросли и развились подъ вліяніемъ иныхъ культурныхъ традицій и въ иныхъ условіяхъ жизни, чѣмъ люди 40-хъ годовъ. Писатели были преимущественно люди высшего круга. — Чернышевскій и Добролюбовъ были разночинцы: люди 40-хъ годовъ воспитали свои умы на романтизмъ Шеллинга и Гегеля, — для людей 50-хъ годовъ увлеченіе ими было чуждо. Все это приводило къ большому нравственной близости такихъ людей, какъ Герценъ, Грановскій, Тургеневъ, къ Аксаковымъ, Самарину и другимъ славянофиламъ, чѣмъ къ Чернышевскому и Добролюбову.

Слова Лежнева о новыхъ поколѣніяхъ, идущихъ мимо, являются анахронизмомъ для романа, дѣйствіе котораго простирается къ 40-ымъ годамъ. Они могутъ быть понимаемы, какъ отраженіе того настроения вещей, которое было во время написанія романа, т. е. въ среднюю 50-хъ годовъ. Въ это время, дѣйствительно, уже не было въ живыхъ нѣсколькихъ представителей 40-хъ годовъ: во время написанія романа 4 октября 1855 года умеръ проф. Т. Н. Грановскій, въ 1848 году скончался Вяземскій, въ 1840 году — Станкевичъ. Въ 40-ые годы еще не было радикально настроенной молодежи, и ея ея дорогою, которая въ 50-ые годы въ литературѣ была представлена Добролюбовымъ и Чернышевскимъ.

IV. *Мистическое значеніе странствованій Рудина.* — Лежневъ говоритъ Рудину: «Каждый остается тѣмъ, чѣмъ сдѣлала его природа, и больше требовать отъ него нельзя! Ты называешь себя Вѣчнымъ Жидомъ. . . А почему ты знаешь, можетъ-быть, тебѣ и слѣдуетъ такъ вѣчно странствовать, можетъ-быть, ты исполняешь эгиму, вышнее, для тебя самого неизвѣстное назначеніе: народная мудрость гласитъ не даромъ, что мы все подъ Богомъ ходимъ».

Несмотря на свой флегматическій характеръ, Лежневъ способенъ иногда увлечься, какъ это замѣчается въ XII главѣ его жены Александра Павловна («Сознайся, что ты немного увлекся въ записку Рудина, какъ прежде увлекался противъ него»). Увлеченіе слышится и въ приведенныхъ словахъ, въ которыхъ Лежневъ придаетъ Рудину мистическое значеніе. На увлеченіе, прежде всего, указываютъ слова: «Ты называешь себя Вѣчнымъ Жидомъ». Выше Рудинъ называетъ себя такъ не называлъ: онъ говоритъ иначе: «Я ро-

дился перекасти-полеми, я не могу остановиться», но Лейбневъ въ увлеченіи приписываетъ Рудину собственные мысли.

Толкованіе жизни Рудина, какъ выраженія высшаго, для него самого неизвѣстнаго назначенія, исторически вполнѣ возможно въ устахъ представителя интеллигенціи 40-хъ годовъ, бывшаго членомъ кружка Покорскаго-Станкевича, каковымъ былъ Лейбневъ. Провиденціальное пониманіе жизни, въ романтическо-философской окраскѣ, было свойственно, напр., самому Станкевичу: Въ письмѣ къ М. М. Певѣрову 13 окт. 1833 года онъ говоритъ: «Много хранить для меня Провидѣніе; оно, я начинаю вѣровать, ведетъ меня...». 6 авг. 1835 г. Станкевичъ пишетъ ему же: «Я вѣрю въ особенный промыселъ, бдящій надъ жизнью каждаго, кто хочетъ быть человѣкомъ, онъ подастъ ему на это средства: иному счастье, иному бѣдствіе». У западникова, впрочемъ, мистическіе и религіозные элементы мысли были незначительны, у нѣкоторыхъ же вовсе отсутствовали. Славянофильству, напротивъ, мистико-религіозныя идеи были близки. Лейбневъ, какъ указано выше, можно считать выразителемъ славянофильскаго умозрѣнія, и этимъ объясняется провиденціальныи характеръ толкованія имъ жизни Рудина и ссылка на народную мудрость, которую идеализировали славянофилы.

Мистическое толкованіе Лейбневымъ странствованія Рудина напоминаетъ подобное же объясненіе Гоголемъ героя «Мертвыхъ Душъ» Чичикова: «Есть страсти,—говоритъ авторъ,—которыхъ избраніе не отъ человѣка. Уже родились онѣ съ нимъ въ минуту рожденія его въ свѣтъ, и не дано ему силъ отклониться отъ нихъ. Высшими начертаніями онѣ ведутся, и есть въ нихъ что-то вѣчно живущее, немолчающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить имъ, все равно, въ мѣрномъ ли образѣ, или прорасширивъ свѣтлымъ явленіемъ, возрадующимъ міръ,—одинаково вызваны онѣ для невѣдомаго человѣкомъ блага. И, можетъ-быть, въ семъ же самомъ Чичиковѣ страсть, его влекущая, уже не отъ него, и въ холодномъ его существованіи заключено то, что потомъ повергнетъ въ прахъ и на колѣни человѣка предъ мудростью небесъ» (т. I, глава XI).

LVI. «*Національныя мастерскія*».—Національныя мастерскія были учреждены временнымъ республиканскимъ правительствомъ 25 февраля 1848 года, посредствомъ которыхъ оно обязывалось обезпечить всякому рабочему трудовое существованіе. Но настоящихъ мастерскихъ, гдѣ бы рабочіе могли находить приложеніе своихъ специальныхъ ремесленныхъ знаній и умѣній, не было организовано. Всѣ неимѣвшіе занятій рабочіе, а такихъ было множество, потому что революція 1848 года вызвала промышленный кризисъ, были привлечены къ землянымъ работамъ. Когда же онѣ прекратились, рабочіе остались безъ дѣла. Ими и были подготовлены «іюньскіе дни» 1848 года. Учредительное собраніе и, въ частности, министръ торговли Маріи относились отрицательно къ «національнымъ мастерскимъ» и въ концѣ-концовъ рѣшили закрыть ихъ.

предлагаемая рабочимъ или поступить въ армію, или отправиться въ провинцію на земляныя работы. Рабочіе явились къ Мари съ выраженіемъ протеста, но министръ заявилъ, что, если рабочіе не отправятся въ провинцію добровольно, ихъ принудятъ къ этому силою. послѣ чего началось возстаніе «національныхъ мастеровскихъ». Инсургенты сосредоточились въ восточныхъ кварталахъ Парижа и зааррикадировались. Правительство направило противъ нихъ значительныя военныя силы. Обѣ стороны сражались съ ожесточеніемъ, такъ какъ національная гвардія была враждебно настроена къ рабочимъ-соціалистамъ. Главнымъ центромъ сопротивленія было Сентъ-Антуанское предмѣстье (въ романѣ—св. Антонія), которое осаждалось три дня, съ 24 по 26 іюля. Рабочее движеніе было подавлено, и Учредительное Собраніе выработало конституцію 1848 года, въ духѣ демократической республики, провозгласившее принципы свободы, равенства и братства.

LVII. *Смерть Рудина*.—Въ письмѣ къ Натальѣ Ласуновской Рудинъ писалъ: «Я кончу тѣмъ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду». Не оправдываютъ ли Тургеневъ эти слова героя обстоятельствомъ его смерти! Возстаніе «національныхъ мастеровскихъ» было однимъ изъ эпизодовъ борьбы французскихъ партій за власть. Партія соціалистовъ боролась противъ Учредительнаго Собранія, въ которомъ она имѣла немного представителей, хотя они и были выбраны всеобщею подачею голосовъ. Принимая участіе въ этомъ возстаніи, могъ ли Рудинъ искренно проникнуться инт-рсами одной партіи и имѣлъ ли онъ основаніе быть враждебно настроеннымъ къ демократическому Учредительному Собранію? Интересы этой партіи никогда, конечно, не могли стать своими для Рудина, владѣвшаго до старости крѣпостными, хотя бы ихъ было, по его словамъ, «дѣй души съ половиною» и прожившаго всю сознательную жизнь въ сферѣ отвлеченныхъ идей Гегелевской философіи. Поэтому можно утверждать, что смерть Рудина логически связана съ приведенными словами изъ его письма къ Натальѣ и со словами, сказанными имъ Лежневу: «А кончу я скверно».

Въ критической литературѣ смерть Рудина вызвала различное отношеніе къ себѣ. Одни увидѣли въ ней доказательство безночвенности героя и безцѣльности его правящего направленія; другіе, наоборотъ, нашли въ ней положительное проявленіе его личности. Съ отрицательной стороны посмотрѣвъ на этотъ вопросъ, напр., проф. Незеленовъ въ своемъ книгѣ «Тургеневъ въ его произведеніяхъ», съ положительной—Д. И. Писаревъ: «Рудинъ умираетъ великолѣпно»,—говоритъ оцѣ.

В. Буренинъ въ книгѣ «Литературная дѣятельность Тургенева» отмечаетъ историческую неправдоподобность смерти Рудина: «Сцена смерти Рудина не вѣрна въ историческомъ отношеніи, потому что, сколько извѣстно, никто изъ русскихъ идеалистовъ сороковыхъ годовъ, по крайней мѣрѣ, изъ идеалистовъ выдающихся, на баррикадахъ парижскихъ не погибалъ».

LXIII. *Rudin* - «Polonais» - поляк. То, что французские рабочие приняли Рудина за поляка, объясняется большим количеством польских эмигрантов, живших во Франции. В 1832 году они основали в Париже польское демократическое общество, равноловину состоявшее из социалистов. Отсюда тесная связь польских эмигрантов с французскими социалистами, в революционных выступлениях которых поляки принимали самое энергичное участие.

LX. *Изображения природы в романе «Рудин»*. - Каждое из описаний природы, встречающееся в романе, имеет определенным художественным смыслом.

В русской литературе Тургенев является одним из лучших живописцев природы. На эту сторону его творчества обращено внимание русских и иностранных критиков. Финский исследователь Гуго Тауно Салонен посвятив Тургеневу, как поэту природы, целую книгу: «Ландшафты Н. С. Тургенева» (1915 г.). Живопись природы у Тургенева обладает следующими свойствами. Во-первых, природа в его изображениях представляется не в виде неподвижной, застывшей картины. Тургенев всегда изображает ее в движении: он «слышит, как она дышит, живет и говорит» (Щапель). Во-вторых, описания природы у Тургенева отличаются «необыкновенно чутким пониманием влияний, которые она обнаруживает на душу человека» (Арс. Введенский).

Первое свойство можно видеть во всех описаниях природы в «Рудине». В описании летнего утра, которым начинается роман, рознь представлена «мелкою», она «переливается то серебристо-зеленой, то красноватою рябью»; по ней бегут «с мягким шепестом» длинные волны. В описании ночи в III главе деревня «спит», ночь «сблизится». В изображении утра в VII главе трава «переливается» изумрудом и золотом; шесты «прилипают», друг к другу и т. д. Эта оживляющая природу точка зрения в описании Андохина юрда переходит в одиозное: «Рядом с бревна основы громадных деревьев виселись какими-то унылыми призраками над нею поросль кустов». Жутко было смотреть на них; казалось, живые старики сошлись и замыслили что-то недоброе.

Второе свойство тургеневской живописи природы выясняется из художественного смысла отдельных ее описаний в «Рудине».

Роман начинается изображением тихого летнего утра. Это - манера многих писателей, в том числе Тургенева, пользоваться пейзажем, как вступлением в произведение. Такие описания природы начинаются у Тургенева «Вблизь дуга», «Вблизь», «Дворянское гнздо», «Дым» и друг. Но описание утра в начале «Рудина» имеет еще другое художественное значение. Изображая блеск росы, «душистую свизость», веселое пенье птиц, разнообразные краски реки, автор создает эффект контраста с «тбеною, душною и дымною» пбюю и умирающею в ней старушкою. Этот контраст усиливает впечатление неприяности

крестьянского міра, которому дѣлѣ противопоставляется міръ бар-сков усадьбы, съ ея чуждыми народу интересами.

Второе, очень короткое, описаніе «ночи» (III глава), въ сущѣ, изображающее ораторское выступленіе Рудина въ салонѣ Ласви-сков. Онъ — артистъ и умѣетъ выбирать для себя подходящія де-корации. Онъ ставовится у раскрытаго окна, въ которое смотрится дѣлтная ночь, съ «душистою мелою», съ «дремотною свѣжестью» деревьевъ, съ «тихо теплалцимися» звѣздами. На такомъ фонѣ «му-зыка краснорѣчія» Рудина достигаетъ наивысшаго эффекта. Та-кимъ образомъ, данное описаніе ночи художественно связано съ цѣлымъ характернымъ героемъ.

Описаніемъ утра начинается VII глава. Художественный смыслъ его въ заключительныхъ словахъ: отъ сада «вѣяло свѣ-жестью и тишиной, той кроткой и счастливой тишиной, на которую сердце человѣка отзывалось сладкимъ томленіемъ сочувствія и не-опредѣленныхъ желаній». Въ слѣдующемъ за описаніемъ сценѣ, въ разговорѣ съ Натальею, Рудинъ изображаетъ себя вѣчнымъ странникомъ, человекомъ, для котораго не можетъ быть уже лич-ныхъ насильствъ, до остается одиночество дѣятельности. В. На-талья проявляется сочувствіемъ къ нему: «Развѣ женщина не въ состояніи оцѣнить такого человѣка?» Наконецъ Рудинъ при-знается въ своей любви къ Натальѣ, и она не скрываетъ своего чувства къ нему. Такъ проявляется «томленіе таиннаго сочувствія и неопредѣленныхъ желаній». Слѣдовательно, зѣвѣ природы является элементомъ дѣйствія романа, усиливающимъ настрое-ніе героевъ.

Такое же значеніе придается авторомъ природѣ въ изображеніи сцены вечерняго свиданія Рудина съ Натальею: «Про ночь и такъ было вечеръ; но сдержаннымъ, строгимъ воздухомъ, душенъ въ вѣч-нинѣ». Подразумѣвается этому «стериличному, строгому воздуху» природы является призваніе Натальи къ любви съ Рудиномъ, любитъ ли она его: «Милъ кажется... да... — прочтала она».

IX глава, въ которой изображается поразившій героиню ударъ безвѣстно разочарованія въ Рудина, начинается описаніемъ Авдее-мыа пруда. Описаніе этого «столата, глухого и мрачнаго» мѣста, съ двумя огромными соснами, въ тощей зелени которыхъ «вѣтеръ вѣчно шумѣлъ и утробно гудѣлъ», съ островами вымершаго лѣса, «закуцѣмися унылыми призраками», «сыдыми стариками», описа-ніе «печеселаго» утра, съ низкими нагъ вѣтеромъ «сплюсннмъ гучали», со свѣтомъ и визгомъ вѣтра — является своего рода увер-тюрою къ изображенію печальнаго для героини послѣдняго сви-данія съ Рудинимъ, разбивааго ея первую любовь.

Въ концѣ романа находится небольшое описаніе долгой осен-ней ночи. Осеннимъ пейзажемъ Тургеневъ пользуется, какъ па-раллельно грустнымъ настроеніемъ человѣка. Такого описаніе осени въ «Свиданіи» и въ «Ноби»: въ несчастный осенній день, подъ заунывные звуки звывающаго вѣтра. Печальномъ кончается само-убійствомъ.

Беседа Лежнева и Рудина растрогала ихъ обоихъ. Состарѣвшіеся, безпріютныи Рудинъ уѣзжаетъ. «Бѣднякъ!» говоритъ вельдъ ему Лежневъ. Въ это время «на дворъ поднялся вѣтеръ и завывъ зловѣщимъ завываньемъ, тяжело и злобно ударяясь въ звеняція стекла. Наступила долгая осенняя ночь». Это описаніе должно усилить сочувственнымъ тономъ по отношенію къ Рудину, которымъ проникнуть эпилוגъ, и является художественнымъ подходомъ къ заключительному аккорду автора: «Да поможетъ Господь вѣдмъ безпріютнымъ скитальцамъ!»

IX. Взглядъ на Рудина людей 40-хъ годовъ и представителей русской мысли 50—60-хъ годовъ.— Типъ Рудина въ русской критикѣ находилъ какъ положительное, такъ и отрицательное освѣщеніе.

Критики, современныя эпохѣ Рудиныхъ, переживавшіе тѣ же увлеченія, что и Тургеневскіи герои, не могли отрѣшиться отъ симпатій къ его личности, которая такъ была знакома имъ по собственному опыту, и потому находили въ Рудинѣ гораздо болѣе положительныхъ, чѣмъ отрицательныхъ чертъ.

Одинъ изъ первыхъ критиковъ «Рудина» Ал.—дръ Вас. Дружининъ (1825—1864 г.) говоритъ о значеніи Рудиныхъ для своего поколѣнія («Соч. Дружинина», т. VII): «Многіе изъ насъ въ юности увлекались Рудинымъ, многіе изъ насъ, въ былое время молодости, слушали рудинскія импровизаціи такъ, какъ студентъ Васиславъ слушалъ вдохновенныя разсужденія Дмитрія Николаевича».

Эти слова являются ключомъ разумѣнія, почему Дружининъ призналъ за Рудинымъ выдающееся общественное значеніе: Рудины, — говоритъ онъ, — были не безполезны обществу въ свое время, можетъ-быть, они нужны ему и теперь, — во всякомъ случаѣ никто не имѣетъ права кидать камень въ этихъ вѣчныхъ странниковъ жизни, безпріютныхъ «инвалидовъ мысли»... Рудинъ — «застрѣльщикъ между двумя арміями»; онъ «долженъ называться человекомъ просвѣщеннымъ: сердце его, смягченное знаніемъ, благородная жажда идеала словно родились съ нимъ вмѣстѣ. По уму и душѣ онъ опередилъ многихъ просвѣщенныхъ людей одного съ нимъ края...» Въ Рудинѣ Дружининъ видитъ «огонь любви къ истинѣ, въ немъ горѣвшій, неутомимое стремленіе къ идеалу, сочувствіе къ слабымъ, вражду къ житейской неправдѣ». Онъ «много служилъ дѣлу добраго слова».

Все это положительныя черты Рудина. Но критикъ признаетъ въ немъ и отрицательныя стороны: Рудинъ «свою жизнь свою не могъ возвыситься до пониманія дѣла, до возможной и необходимой гармоніи съ средой, его окружающей. Въ разединеніи дѣла и слова лежитъ корень всѣхъ недостатковъ Рудина, — основаніе всей его грустной, но близкой къ намъ личности»... Хотя онъ человѣкъ просвѣщенный, но «остановился посреди блестящаго пути, не умѣя воспользоваться сокровищами, только что добытыми».

«Причина такого бездѣйствія, — продолжаетъ Дружининъ, — разрывавшагося полнымъ безсиліемъ передъ практическою жизнью. заключается въ отсутствіи воли, въ неспособности къ правильному

воспринятію началъ истиннаго просвѣщенія. Можно до глубины существа нашего пропитаться добрымъ словомъ; —и, при всемъ томъ, оказаться дѣтски-слабымъ въ тѣ минуты, когда предстанетъ необходимость сдѣлать дѣло изъ добраго слова. Человѣкъ просвѣщается тѣмъ же путемъ, какъ и общество, какъ и государство. Человѣкъ, просвѣщающій себя, долженъ быть для своего нравственнаго міра въ иѣкоторомъ смыслѣ тѣмъ же, чѣмъ былъ великій преобразователь Россіи, государь Петръ Великій, — для края. Подобно тому какъ нашъ великій просвѣтитель, усиліями могучей воли, вводилъ великія идеи, имъ добытыя, въ жизнь и бытъ Россіи, великій честный и слабый человѣкъ, обогащаясь сокровищами мудрости, обязанъ, во что бы то ни стало, сроднить эти сокровища съ своей жизнью, примѣнить ихъ къ средствамъ и потребностямъ среды, его окружающей. Мало одной горячей любви къ правдѣ, надо проводить эту правду въ всей жизни нашей. Мало проводить правду съ упорствомъ и необузданной горячностью, надо быть мудрымъ, практическимъ, своевременнымъ въ ея примѣненіи. Одного идеала мало для просвѣщенія, съ одной благородной горячкой ничего не сдѣлаешь, съ однимъ краснорѣчивымъ словомъ не увидишь далеко. Необходимо просвѣщенному дѣятелю жизни коротко знать всѣ средства той среды, гдѣ ему судьбой назначено жить». Но Рудинъ, говоритъ даже Дружининъ, — «самое поприще боя было совершенно незнакомо».

Говоря объ этихъ нравственныхъ недостаткахъ героя романа, Дружининъ относитъ ихъ происхожденіе ко вліянію исторической эпохи, въ которую жилъ Рудинъ: онъ «естъ живой плодъ нашего ранняго, быстро развивающагося, порывистаго просвѣщенія».

Дружининъ, конечно, иѣсколько сгущаетъ краски, рисуя идеализмъ Рудина. Онъ говоритъ, напр., объ его «враждѣ къ житейской неправдѣ». Это можно сказать о другомъ героѣ Тургенева, но человѣкъ совсѣмъ иной складки — Бабуринъ («Шуниъ и Бабуринъ»), съ представленіемъ же о Рудинѣ слова Дружинина мало вяжутся. Однако, въ общемъ, тонъ критики Дружинина объективный.

Иначе относится къ типу Рудина другой писатель, Мих. Бас. Авдѣевъ (1821 — 1876 г.), принадлежащій къ школѣ беллетристовъ 40-хъ годовъ. Его оцѣнка впадаетъ въ слишкомъ субъективное истолкованіе Тургеневскаго героя и лишена какого-либо критицизма.

«Совершенно несправедливо, — говоритъ онъ, — установившееся воззрѣніе, что Рудины и всѣ люди сороковыхъ годовъ были способны только къ разговорамъ, а не къ дѣлу. Напротивъ, тамъ, гдѣ для этихъ людей была открыта возможность общественной дѣятельности, они немедленно воспользовались ею и явились способнѣйшими тружениками. Такъ, крестьянское дѣло выработано и вынесено ими на своихъ плечахъ; и если потомъ обстоятельства вновь такъ сложились, что ихъ участіе въ общественныхъ дѣлахъ опять найдено излишнимъ, то ихъ бездѣйствіе уже не можетъ быть имъ поставлено въ вину».

Эти слова имѣютъ автобіографическій смыслъ. Авдѣевъ принималъ ближайшее участіе въ крестьянской реформѣ, состоя членомъ присутствія по крестьянскимъ дѣламъ, но въ 1863 году онъ принужденъ былъ удалиться за границу, гдѣ прожилъ значительное время. Такимъ образомъ, авторъ отождествляетъ себя, какъ представителя общества, съ типомъ Рудина, въ чьемъ и состоитъ субъективность его общественнаго истолкованія.

Послѣ этого познана основа того, что Авдѣевъ говоритъ о Рудинѣ: «Рудинъ не былъ пустословомъ, но былъ положительнымъ дѣломъ». Тамъ, гдѣ слово выходитъ изъ обыкновенной колеи и возмущается до праскорбца, до слезы подмывающей, движущей, вселяющей волю, — тамъ рѣчь становится дѣломъ, говорунъ обращается въ проповѣдника... Рудинъ не ограничивался однимъ словомъ. Когда онъ видитъ, что эти слова не приносятъ пользы, онъ возмущается за всякое дѣло... Конечъ Рудина показываетъ, что Рудинъ не принималъ себя къ числу новыхъ слова, онъ умираетъ, убитый на маринской баррикадѣ, сражаясь за свободу чуждаго ему народа. Теперь спросимъ мы читателей: такъ ли умирающъ люди слова, люди, не имѣющіе воли и твердости, чтобы пожертвовать собой своему дѣлу?.. Рудинъ былъ человекъ, чѣмъ онъ готовъ былъ пожертвовать ради: онъ первый между героями имѣетъ намъ не такъ страдательное лицо, не такъ забитый и изломанный человекъ, а какъ невинный и положительный двигатель, побуждающій — какъ водителъ — въослѣдствіи. Да, Рудинъ первый между героями литературы общественный дѣятель.

Того, что видѣти въ Рудинѣ люди 40-хъ годовъ, не могли видѣть представители послѣдующихъ поколѣній русской интеллигенціи. Прозвѣромъ отношенія людей 50-хъ годовъ къ Рудинскому типу является Н. А. Добролюбовъ. Въ знаменитой статьѣ «Что такое обломовщина?» критикъ подводитъ подъ одинъ знаменатель такихъ героевъ, какъ Онегинъ, Печоринъ, Бѣлцовъ («Что виною?» Герцена), Тентѣтниковъ, Обломовъ и Рудинъ: «Надъ всѣми этими лицами тяготѣетъ одна и та же обломовщина, которая кладетъ на нихъ неизгладимую печать бездѣльности, дармовѣстия и совершенной ненужности на свѣтѣ».

Добролюбовъ доказываетъ свою мысль фактами, напр.:

Онѣгинъ дома газетей,
Зѣвая, на перо вознесенъ,
Хотѣлъ писать, но трудъ узорный
Ему былъ тошнотъ; ничего
Не вышло изъ пера его...

На этомъ же принципѣ подвизался и Рудинъ, который любилъ читать избраннымъ «первыя страницы предполагаемыхъ сватей и сочиненій своихъ» («Рудинъ», гл. VI). Тентѣтниковъ тоже много дѣлъ занимался «колоссальнымъ сочиненіемъ, должеествовавшимъ «блать всю Россію со всѣхъ точекъ зрѣнія»; но и у него «предпріятіе болѣе ограничивалось однимъ обдумываніемъ; изрызалось перо.

извѣстны, не будуть рѣшаны, и потому все не соединялось въ сторону». Илья Ильичъ не остался въ этомъ отъ своихъ собратовъ: онъ тоже писалъ и переводилъ, — Онъ даже переводилъ. «Гдѣ же твои работы, твои переводы?» спрашиваешь его вѣдомъ Школьникъ. «Не знаю, Захаръ куда-то дѣлать; въ углу, должно-быть, лежатъ», отвѣчаетъ Обломовъ. Выходитъ, что Илья Ильичъ также болѣе, можетъ-быть, сдѣлать, чѣмъ другіе, принимавшіеся за дѣло съ такой же твердой рѣшимостью, какъ и онъ...

Всѣ вѣдшіе теренъ, дѣломъ Отышевъ и Нечоринъ¹⁾, служили и въ вѣдахъ ихъ службѣ ненужное и невѣроятное число брело; и всѣ они оканчиваются благоволеніемъ и ранней отставкой. Бѣлотовъ, четырнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ не дослуживъ до праздника, потому что, поторачившись сначала, вѣкорѣ охладѣвъ къ канцелярскимъ занятіямъ, сталъ раздражаться и раздраженъ... Тенгеманъ, только переговоривъ крупно съ начальствомъ, да при томъ же хотѣвъ приносить пользу государству, лично занявшись устройствомъ своего имѣнія. Рудинъ поссорился съ директоромъ гимназіи, гдѣ былъ учителемъ. Обломову не понравилось, что съ начальствомъ всѣ говорить не своимъ голосомъ, а какимъ-то другимъ, тоненькимъ и редкимъ; онъ не хотѣлъ своимъ голосомъ объясниться съ начальствомъ по тому поводу, что отговаривалъ нужную бумагу вѣдѣю Астрахань въ Архангельскъ, и получилъ въ отставку... Всѣмъ же одна и та же обломовщина...

Отвѣдно отъ другихъ разбурныхъ теренъ, Добролюбовъ въсь характеризуетъ Рудинъ. Онъ не только понимаетъ, что ему дано много силъ, но знаетъ и то, что у него есть великая цѣль... Подозрѣваетъ, какъ-то, даже и то, какая это цѣль, и гдѣ она находится. Онъ благороденъ, честенъ (хотя часто и не платитъ долговъ); съ жаромъ разсуждаетъ не о пустякахъ, а о вѣчныхъ вопросахъ; увѣренъ, что готовъ кооперировать собою для блага человечества. Въ головѣ его рѣшены всѣ вопросы, все приведено въ живую, строгую связь; онъ увлекаетъ своимъ могучимъ словомъ сонныхъ юношей, такъ что, послушавъ его, и они чувствуютъ, что призваны въ чему-то великому... Но въ чемъ прохоритъ его жизнь? Въ томъ, что онъ все начинаешь и не оканчиваетъ, разбираешься во всѣ стороны, всему отдаетъ съ жадностью и не можетъ отдѣлаться... Онъ влюбляется въ дѣвушку, которая, наконецъ, говоритъ ему, что, несмотря на запрещеніе матери, она готова принадеваться ему; а онъ отвѣчаетъ: «Боже! такъ вы маленька не согласна! какой внезапный ударъ! Боже! какъ скоро... Дѣлать нечего, — надо покориться»... И въ этомъ точный образецъ всей его жизни... Это—Обломовъ. Когда вы хорошенько всмотритесь въ эту личность и поставите ее лицомъ къ лицу съ требованіями современной жизни, — вы сами въ этомъ убѣдитесь».

¹⁾ Гдѣмъ или вѣдѣмъ Добролюбовъ или Нечоринъ, можетъ-быть, Нечоринъ былъ офицеръ.

Наконецъ, Добролюбовъ даже признаеть, что «Обломовъ меньше раздражаетъ свѣжато, молодого, дѣятельнаго челоуѣка, нежели Печоринъ и Рудинъ».

Статья Добролюбова не имѣетъ характера исключительно критическаго разбора ряда литературныхъ героевъ, — эта статья публицистическая и была направлена противъ людей 40-хъ годовъ, которые продолжали свою дѣятельность и въ 50-ые годы, какъ Тургеневъ и Герценъ. Выше (LIV) было указано расхожденіе этихъ двухъ общественныхъ поколѣній, «отцовъ и дѣтей». «Дѣти» считали «отцовъ» романтиками и аристократами, барами: «отцы» не любили «дѣтей» за ихъ рѣзкость и самомнѣіе. Однажды Тургеневъ сказалъ Чернышевскому: «Васъ я еще могу переносить, но Добролюбова не могу... Вы простая змѣя, а Добролюбовъ — очковая змѣя». Герценъ направилъ противъ нихъ двѣ статьи въ «Колоколъ». Одна изъ нихъ, подъ названіемъ по-англійски «Very dangerous!!!» («Очень опасно») напала на «дѣтей» за постоянное высмѣиваніе въ «Свистѣ», приложеніи къ журналу «Современникъ», обличительной литературы, къ которой относится и лондонскій «Колоколъ» Герцена; другая, подъ названіемъ «Лишніе люди и желчевики», изображала столкновеніе двухъ поколѣній: лишнихъ людей 30 — 40-хъ годовъ и желчевиковъ, людей 50-хъ годовъ. Отношеніе послѣднихъ къ первымъ выражено здѣсь въ слѣдующемъ диалогѣ между Герценомъ и однимъ изъ желчевиковъ, подъ которымъ нѣкоторые изслѣдователи разумѣютъ Чернышевскаго. Бадягаго въ Лондонъ объясняется съ Герценомъ по поводу статьи «Очень опасно».

« — Что вы заступаетесь за этихъ лѣнтяевъ, — говоритъ намъ одинъ желчевикъ, дармоедовъ, трутней, блѣдноруцыхъ, тупеяцкихъ, а ла Онѣгинъ?.. Извольте видѣть, они образовались иначе, мѣръ, ихъ окружающій, имъ слишкомъ грязенъ, недовольно пахнетъ воскомъ, замазываютъ руки, замазываютъ ноги. То ли дѣло стоять о несчастномъ положеніи и при томъ спокойно бѣсть да нить».

« — Неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что эти люди по доброй волѣ ничего не дѣлали или дѣлали вздоръ?»

« — Безъ всякаго сомнѣнія, они были романтики и аристократы, они ненавидѣли работу, себя считали бы униженными, взявшись за топоръ или за шило, да и того, правда, они не умѣли».

Такая точка зрѣнія на людей 30 — 40-хъ годовъ и отразилась въ пониманіи Добролюбовымъ Рудина.

Въ 60-ые годы взаимное непониманіе «отцовъ» и «дѣтей» было усилено глубокимъ различіемъ въ самомъ міросозерцаніи двухъ общественныхъ поколѣній. Люди 40-хъ годовъ жили идеями романтика Шеллинга и отвлеченною философіею Гегеля, трактовавшихъ о духѣ и его жизни. Въ 50-ые и особенно 60-ые годы источникъ идейнаго возбужденія среди мыслящей части русскаго общества былъ, правда, тотъ же германскій, но совершенно иного характера. «Нѣмцы — наши учителя», говорятъ герои «Отцовъ и

дѣлѣхъ Базаровъ, но среди этихъ учителей уже не числится ни Шеллингъ, ни Гегель.

Въ 40-ые годы въ самой Германіи идеалистическое направленіе мысли, выразившееся въ системахъ этихъ философовъ, стало уступать свое мѣсто опытному направленію науки и матеріалистическому воззрѣнію на природу. Если Шеллингъ и Гегель представляли міръ, какъ проявленіе идеи, Міроваго Разума, духа, то Александръ Гумбольдтъ въ своемъ «Космосѣ» трактуетъ природу, какъ нечто оживляемое и движимое внутренними силами матеріи. Появляется цѣлый рядъ крайнихъ матеріалистовъ-ученыхъ, какъ Либихъ, Молешоттъ, Фохтъ, Бюхнеръ, Фенербахъ и другіе, стремившіеся все явленія живой природы свести къ тѣмъ же процессамъ, какіе существуютъ въ неорганическомъ мірѣ.

Это матеріалистическое міросозерцаніе въ срединѣ 50-хъ и въ 60-ые годы прививается въ Россіи, отраженіемъ чего въ русской литературѣ и является Базаровъ, который смѣется надъ «отцами», людьми 40-хъ годовъ, называя ихъ «старенькими романтиками», считаетъ романтизмомъ философію вообще, отрицаетъ даже логику и поэзію, заявляя, что «порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта». Вотъ тотъ кругъ идеи, въ которомъ жилъ первый критикъ 60-хъ годовъ, Д. Н. Писаревъ, и который былъ такъ далекъ отъ идеалистическаго міровоззрѣнія Рудина. Все это надо имѣть въ виду при оцѣнкѣ взгляда Писарева на послѣдняго.

Поклонники Рудиныхъ,—говоритъ онъ,—гегельянцы, заботившіеся только о томъ, чтобы въ ихъ идеяхъ господствовала систематичность, а въ ихъ фразахъ —замысловатая таинственность, мирили насъ съ нелѣпостями жизни, оправдывая ихъ разными высшими взглядами, и, всю свою жизнь толкая о стремленіяхъ, не трогались съ мѣста и не умѣли измѣнить къ лучшему даже особенности своего домашняго быта. Развѣичать этотъ типъ было такъ же необходимо, какъ необходимо было Сервантесу похоронить своего Донъ-Кихотомъ рыцарскіе романы, какъ одно изъ послѣднихъ наслѣдствъ средневѣковой жизни. Типъ красиваго фразера, совершенно чисто-сердечно увлекающагося потокомъ своего краснорѣчія, типъ челоуѣка, для котораго слово замѣняетъ дѣло и который, живя однимъ воображеніемъ, прозябаетъ въ дѣйствительной жизни, совершенно развѣичанъ Тургеневымъ. Люди этого типа совершенно не виноваты въ томъ, что они люди безполезные; но они вредны тѣмъ, что увлекаются своими фразами тѣ неопытныя созданія, которыя прельщаются ихъ виѣшнейю эффектностью; увлекши ихъ, они не удовлетворяютъ ихъ требованіямъ; усиливъ въ нихъ чувствительность, способность страдать, они ничѣмъ не облегчаютъ ихъ страданія,—словомъ, это болотныя огоньки, заводящіе ихъ въ тупоходы и погасающіе тогда, когда несчастному путнику необходимо свѣтъ, чтобы разглядѣть свое затруднительное положеніе. Тургеневъ исчерпалъ этотъ типъ въ Рудинѣ. На словахъ эти люди, подобные Рудину, способны на е. движенія, на жертвы, на героизмъ, такъ, по крайней мѣрѣ, подумаетъ каждый обыкновенный смертный,

слушая ихъ разглагольствованія о челоѣкѣ, о гражданствѣ и другихъ тому подобныхъ отвѣченныхъ и высокихъ предметахъ. На дѣлѣ эти дряблыя существа, постоянно испаривающіеся въ фразы, неспособны ни на рѣшительный шагъ, ни на усвоеніе чуждого.

LXI. *Двойственное отношеніе Тургенева къ Рудину.* Анотологъ Григорьевъ первый изъ критиковъ обратилъ вниманіе на художественную двойственность романа Рудина. Въ этой повѣсти, говоритъ онъ, совершается передъ глазами читателя явленіе совершенно особенное. Художникъ, называя критическимъ отношеніемъ къ создаваемому имъ лицу, видимо, путается въ этомъ критическомъ отношеніи, самъ не знаетъ, что ему дѣлать съ своимъ анатомическимъ позкомъ, и наконецъ, увлеченный порывомъ искренняго стараго сочувствія, снова возводитъ въ анотезу въ эпилогъ то, къ чему онъ пытался отнестись критически въ разказѣ. И нельзя даже подумать, чтобы критика была новымъ походомъ къ анотезѣ, такъ быстро и прямо совершается передъ глазами читателя поворотъ, такъ постѣ прочтенія эпилога становится ясно, что все, кромѣ эпилога, да той минуты, когда Рудинъ, стоящій вечеромъ у окна и закрывающій свою бѣсѣду, свою проповѣдь легенды о скалдинскомъ царѣ, напоминаетъ манеры, пріемы и дѣланъ одного изъ любимѣйшихъ людей нашего поколѣнія, что, кромѣ этого, говорю я, все остальное сдѣлано, а не рождено, сдѣлано искусственно, хоть и не совсемъ нехудо, вымучено у души насильственно... Тутъ, однимъ словомъ, обнаруживается въ отношеніяхъ художника къ создаваемому имъ типу, да вмѣстѣ съ тѣмъ и для многихъ изъ насъ, кто подобросовѣстиѣе, замѣчательная путаница (соч. I, 322).

Такимъ образомъ, Ан. Григорьевъ признаетъ, во-первыхъ, что авторъ проявляетъ неодинаковое отношеніе къ своему герою во всехъ романахъ: во-вторыхъ, что между романомъ и эпилогомъ есть художественная связь и единство; въ-третьихъ, что эпилогъ вытекаетъ изъ «искренняго стараго сочувствія» автора къ «одному изъ любимѣйшихъ людей его поколѣнія», все же остальное «сдѣлано искусственно», т.е. критическое отношеніе Тургенева къ Рудину надумано, идетъ отъ ума, а не сердца.

Далѣе на художественную двойственность романа указалъ А. М. Скабичевскій: «Трудно,—говоритъ онъ,—встрѣтить въ какомъ-либо другомъ произведеніи литературы характеръ до такой степени невыдержанный, противорѣвляющій самому себѣ, какъ Рудинъ въ повѣсти Тургенева... Если въ первой части онъ является передъ нами Гамлетомъ, то во второй части онъ Донъ-Кихотъ въ полномъ смыслѣ этого слова (я здѣсь сообразуюсь съ характеристикой этихъ двухъ типовъ, представленныхъ Тургеневымъ въ статьѣ «Гамлетъ и Донъ-Кихотъ»)».

Наконецъ на вопросъ о двойственности романа подробно останавливается Н. Н. Ивановъ въ книгѣ Н. С. Тургеневъ, Жизнь, личность, творчество».

Въ первомъ изданіи этой книги Ивановъ говоритъ: «Смысль перваго тургеневскаго романа несравненно болѣе автобіографическій, чѣмъ историко-общественный. И именно этотъ смыслъ возвышаетъ значеніе романа и бросаетъ вѣрныи свѣтъ на нравственную природу художника и его дальнѣйшій путь развитія. Рудинъ послужалъ духовнымъ самоочищеніемъ для автора. Тургеневу необходимо было освободиться отъ юношескихъ ослѣпленій, отъ празднои игры тщеславнаго воображенія, чтобы вполне сознательно отнестись къ окружающей дѣйствительности и сказать и прочное слово, и столь для него желанное, и жадно исконое. Но авторъ не могъ остановиться на одномъ отрицаніи, не могъ оставить себя и читателей среди поля, покрытаго осмѣянными фразами и поэмами, сборанной, потускнѣвшею мишурою. Вспоминали молодости вообще дороги и близки сердцу, но они еще дороже, когда съ ними соединяется представленіе о бывшихъ усѣхахъ, о быломъ блескѣ, безотчтномъ героизмѣ— все-равно дѣйствительномъ или театральномъ. Все поэты, разлѣчившая молодая заблужденія, хранятъ въ сердцѣ какое-то нѣжное чувство къ своимъ героямъ, похожее на чувство отца къ легкомысленному сыну».

Такимъ образомъ, критикъ признаетъ, во-первыхъ, что отрицательное отношеніе автора къ Рудину въ первой части романа явилось слѣдствіемъ стремленія Тургенева къ «духовному самоочищенію отъ юношескихъ ослѣпленій»; положительное же освѣщеніе героя во второй части—результатомъ дорогихъ воспоминаній молодости, т.-е. того «и крѣпннго стараго сочувствія», о которомъ говорить Ал. Григорьевъ.

Во второмъ изданіи той же книги Н. Н. Ивановъ представляетъ дѣло иначе.

«Тургеневу предстояла задача изобразить существо разнородное, двуликое и надломленное, одновременно и смѣшное и трагическое, жалкое и героическое, пошлое и благородное, посящее въ себя смерть и сѣмена новой жизни». Всѣ отрицательныя свойства Тургеневъ изобразилъ въ первой части романа, которая вышла «живой, свободной и драматической»... «Но вторая часть... Ее написать было необходимо,—иначе осталось бы одностороннее несправедливое обличеніе сложнаго и отнюдь не сложнаго отрицательнаго явленія. Но какъ изобразить положительныя стороны рудинской личности? Въ какой дѣятельности? Ни сами Рудины не обладали дѣятельными способностями, ни русская жизнь не представляла возможностей дѣйствовать... Тургеневу приходилось придумать положенія, но возможности соответствующія русской жизни и показать Рудина безупречнымъ рыцаремъ чести и правды и безпомощной жертвой житейской пошлости».

«Сначала Рудина «возстанавливаютъ» на словахъ: «минуло около двухъ лѣтъ», и Лежневъ—его искренній другъ, даже поклонникъ, наравнѣ съ Васисловымъ. Теперь онъ все оправдываетъ и все объясняетъ. Но какъ же, спросите вы, можно оправдать поступки,

разсказанные раньше тѣмъ же Лежневымъ и ясно доказывавшіе, что Рудинъ, тридцатипятилѣтній Рудинъ—почти невѣжа, недобросовѣтный фразеръ, сомнительный въ своихъ отношеніяхъ къ друзьямъ и женщинамъ? Ни одинъ изъ этихъ поступковъ и не опровергается, а другихъ Лежневъ не знаетъ: онъ не видѣлъ Рудина послѣ романа съ Натальей. Неужели только чувство ревности, при томъ далеко неясное и въ глазахъ самого Лежнева врядъ ли основательное, можетъ до такой степени сбить съ толку необыкновенно уравновѣшеннаго и разсудительнаго человека? Кромѣ того, надо помнить, Лежневъ порвалъ съ Рудинымъ задолго до романа и встрѣчается съ нимъ крайне непріятно: очевидно, причины разрыва были весьма внушительны и вполнѣ соответствовали разсказамъ Лежнева о Рудинѣ. Куда же все это исчезло безъ всякаго участія со стороны Рудина, и даже послѣ его послѣднихъ далеко непохвальныхъ приключеній? Только что мы слышали суровый приговоръ герою и видѣли на дѣлѣ, насколько этотъ приговоръ справедливъ,—и вдругъ оправданіе по всемъ статьямъ и даже признаніе великой пользы отъ его краснорѣчія, хотя именно оно и заставило Лежнева презирать Рудина задолго до побѣдъ оратора надъ Натальей и Басистовымъ!..»

«Очевидно, логическое объясненіе здѣсь непримѣнимо. Автору нужно создать у читателей новое представленіе о своемъ героѣ, и сначала тость Лежнева, его безпощаднаго судьи, а потомъ—для картиннаго подтвержденія—появленіе самого Рудина. Въ первой части Рудинъ дѣйствовалъ соответственно отзывамъ Лежнева, во второй части его дѣйствія другія, другія и рѣчи Лежнева».

Въ первой и второй частяхъ романа «чувства и мысли (Рудина) до такой степени различны, что передъ нами будто два лица и два романа. Въ одномъ лицѣ безпощадно разоблачены нынѣшніе рѣчи и лицѣдѣская удалъ, прикрывающія слабость воли и роковую разсмысленность натуры, на другомъ лицѣ почли всепрощеніе, глубокая желость и даже уваженіе».

Для объясненія этого Н. Н. Ивановъ выходитъ изъ рамокъ личности Тургенева и становится на широкій путь толкованія общихъ свойствъ русской интеллигенціи:

«Кто изъ русскихъ—не сороковыхъ годовъ—а какого бы ни было поколѣнія бросить камень въ Рудина? Да это значить посягнуть на самаго отечественнаго, на самаго кровнаго своего собрата, на самое туземное и устойчивое произведеніе русской пчелы. Кто не былъ Рудинымъ самъ или кто не встрѣчалъ его въ жизни? То, что принято именовать *русскій интеллигентъ*, и есть Рудинъ—до сихъ поръ все возрождающійся подъ разными именами, съ кое-какими добавочными чертами,—но по существу все тотъ же единый и вѣчный. *Геніальность есть, натуры нѣтъ*—вотъ знамя, все еще вѣющее надъ русскими поколѣніями; и кто скажетъ, въ какомъ десятилѣтіи, въ какомъ вѣкѣ рука исторіи сотретъ эту надпись и поставитъ другую: *геніальность и натура*—и тогда исчезнутъ всевозможныя породы лишнихъ, разочарованныхъ, разбитыхъ

(людей),—и тогда художникамъ и вслѣдъ за ними историкамъ не придется въ своихъ описаніяхъ и воспоминаніяхъ смѣяться смѣхомъ сквозь слезы и плакать слезами сквозь улыбку надежды. Съ такимъ чувствомъ Тургеневъ писалъ свой романъ».

Такимъ образомъ, проф. Ивановъ объясняетъ художественную двойственность романа не личною психологіею Тургенева, какъ объясняетъ Ан. Григорьевъ, и самъ онъ въ первомъ изданіи своей книги, а тою психологіею автора «Рудина», которая присуща ему, какъ русскому интеллигенту.

Въ вопросѣ о художественной двойственности романа «Рудинъ» заключается два вопроса. Первый: представляетъ ли Рудинъ романа и Рудинъ эпилога «будто два лица», какъ говоритъ Н. Н. Ивановъ, или Гамлета и Донъ-Кихота, какъ говоритъ Скабичевскій? — И второй вопросъ: не зависитъ ли художественная двойственность романа отъ различнаго отношенія къ герою самого автора?

Первый вопросъ долженъ быть рѣшенъ отрицательно не на основаніи общаго впечатлѣнія, которое производитъ эпилогъ тономъ, какимъ онъ написанъ, а на основаніи самыхъ фактовъ.

Г Что образъ Донъ-Кихота носился въ творческой фантазій Тургенева, когда онъ писалъ вторую половину романа, это доказывается сопоставленіями словъ Рудина и Донъ-Кихота, указанными выше (XLIII и LIII). Но такъ какъ типъ Рудина есть индуктивный художественный образъ, т.-е. является результатомъ наблюдений автора, а не литературной начитанности, то Донъ-Кихотъ не въ состояніи былъ повліять на этотъ сложившійся въ творческомъ сознаніи Тургенева образъ. Если сравнить Рудина эпилога съ тѣмъ, какъ понимаетъ Тургеневъ Донъ-Кихота въ своей рѣчи, на которую ссылается Скабичевскій, то между ними нѣтъ ничего общаго. Изъ сообщаемыхъ Рудинымъ трехъ эпизодовъ своей жизни первый рассказанъ въ такихъ общихъ выраженіяхъ, что никакихъ фактовъ для характеристики героя, какъ Донъ-Кихота, не почерпнешь изъ него. Читатель узнаетъ только, что планы у Рудина были громадные, что онъ мечталъ о разныхъ усовершенствованіяхъ, нововведеніяхъ, но въ чемъ эти планы заключались, не знаемъ. Рудинъ думаетъ, пользуется средствами своего богатаго знакомаго, приноситъ пользу существенную и дѣлать добро, но ни о какихъ попыткахъ къ этому дальше ничего не говорится. Поэтому изъ разсужденія о Рудинѣ эпилога первый эпизодъ приходится совершенно исключить.

Второй эпизодъ какъ будто имѣетъ въ себѣ что-то Донъ-Кихотское, но, когда Рудинъ рассказываетъ о проектѣ Курбьева, онъ не забываетъ упомянуть, что эт проектъ «могъ бы принести огромныя выгоды». Такія практическія соображенія совершенно не мыслимы въ представленіи о Донъ-Кихотѣ: «въ немъ нѣтъ и слѣда эгоизма, говоритъ о немъ Тургеневъ, онъ не заботится о себѣ, онъ весь самопожертвованіе».

«Смирный сердцемъ, онъ духомъ великъ и смѣлъ; чуждый тщеславія, онъ не сомнѣвается въ себѣ, въ своемъ призваніи, даже въ своихъ физическихъ силахъ; воля его—непреклонная воля».

Рудинъ сомнѣвается въ себѣ, — иначе чѣмъ объяснить вопросъ, предлагаемый имъ Лежневу: «Послушай, вѣдь и ты не станешь отрицать во мнѣ желанія добра?» Непреклонной воли въ немъ нѣтъ: онъ готовился къ второй и третьей лекціи, потому воля ослабѣла, и Рудинъ сталъ импровизировать. Донъ-Кихоть чуждъ тщесавія. Рудинъ, передавая о своемъ учительствѣ, только и говоритъ о впечатлѣніи, которое онъ производилъ на гимназистовъ.

«Донъ-Кихоть, исколоченный галерными преступниками до невозможности пошевеливаться, ни мало не сомнѣвается въ успѣхъ своего предиріяія». — Рудинъ всегда сознаетъ неуспѣхъ своихъ предиріяіи: «меня понимали плохо, — говоритъ онъ о своихъ ученикахъ, — слушатели мои выносили мало изъ моихъ лекціи»; его учительство «послѣдній мыльный пузырь».

Такимъ образомъ, въ эпилогъ нѣтъ фактовъ, которые вели бы Рудина въ разрядъ Донъ-Кихотовъ. Это прежній Рудинъ — дѣиный, по словамъ Лежнева, и потому не готовящійся къ урокамъ, хотя онъ сознаетъ, что не знаетъ своего предмета, подтверждая этимъ также слова Лежнева, сказанныя про него, что онъ «не очень свѣдуице». Въ первой части Лежневъ бросаетъ ему въ укоръ: «Стыдно тѣшиться шумомъ собственныхъ рѣчей!» — Рудинъ эпилога тѣшится имъ передъ гимназистами: вѣдь онъ знаетъ, что его понимали плохо, что изъ его лекціи ученики мало выносили, — и все-таки онъ говоритъ передъ ними!

Поэтому невозможно утверждать, что Рудинъ эпилога — это не тотъ герой, какого авторъ изобразилъ въ романѣ. Герой остался тотъ же, какъ типъ, но отношеніе къ нему автора, тогда, съ которымъ Тургеневъ говоритъ о немъ, измѣнилось.

Въ этомъ отношеніи романъ дѣлится на двѣ части: первая обнимаетъ одиннадцать главъ, вторая — двѣнадцатую главу и эпилогъ. Съ двѣнадцатой главы мѣняется свое мнѣніе о Рудинѣ его нравственный судья Лежневъ, а также самъ авторъ. Въ первыхъ одиннадцати главахъ для него Рудинъ — «путешествующій принцъ», «только на словахъ ищетъ чистыхъ и преданныхъ душъ», говорить такъ, будто «не высказываетъ и десятой доли того, что тѣснилось ему въ душу»; уѣзжая отъ Ласунской, хотя и принимаетъ гордые слова Донъ-Кихота о свободѣ, но плачетъ изъ самолюбія. Въ XII главѣ и эпилогѣ Рудинъ рисуется сочувственнымъ тономъ. Въ его фигурѣ «было что-то безпомощное и грустно-покорное»; «въ похолодѣвшей, какъ бы разбитой рѣчи высказывалась усталость окончательная, тайная и тихая скорбь, далеко различная отъ той полуприворотной грусти, которою онъ щеголялъ бывало». Въ концѣ романа у автора вырывается восклицаніе: «Да поможетъ Господь всемъ безпріютнымъ скитальцамъ!»

Такимъ образомъ, можно говорить о двойственности въ отношеніи Тургенева къ Рудину, но не о двойственности самого образа героя.

ЛХІІ. Вліяніе историческаго момента на двойственное отношеніе Тургенева къ Рудину. — Ан. Григорьевъ и проф. Ивановъ сначала

выводили объясненіе двойственнаго отношенія Тургенева къ Рудину изъ личной психологіи автора; затѣмъ второй изъ названныхъ критиковъ сталъ въ объясненіи этого факта на почву психологіи Тургенева, какъ русскаго интеллигента. Психологическія явленія сложны и многосторонни, и все указанное надо принять во вниманіе при объясненіи романа, но должна была быть еще очень важная сторона психологіи Тургенева, которую необходимо раскрыть для уясненія вопроса о двойственномъ отношеніи автора къ типу Рудина. Эта сторона зависѣла отъ историческаго момента, въ который былъ созданъ «Рудинъ».

По словамъ К. С. Аксакова, лѣтъ за десять до года написанія романа Тургеневъ изобразилъ бы Рудина «совершеннымъ героемъ». Что же могло направить мысль автора прежде всего въ сторону кратическаго освѣщенія избраннаго имъ типа? Это были тѣ сильныя потрясенія, которые составили русское общество 50-хъ годовъ отнестись на себя, задать себѣ вопросъ, что оно сдѣлало и на что способно, и критически отнестись къ своему прошлому. Эта критика начинается подъ громъ Севастопольской войны, коснувшись всего общественнаго и политическаго уклада жизни Россіи.

Даже людей стараго общественнаго закала, пережившихъ еще 1812 годъ, какъ, напр., С. Т. Аксакова, Крымская война волновала совершенно особенно и заставляла, на старости лѣтъ, задавать себѣ вопросы, которые были первымъ шагомъ къ широкому общественному пробужденію: «Мы находимся теперь, — писалъ С. Т. Аксаковъ А. О. Смирновой, — въ исключительномъ положеніи. Мы погружены въ безотрадное горе и въ тревожное ожиданіе новыхъ печальныхъ явленій нашего безысходнаго положенія. Много великихъ событій совершилось на моей памяти; я помню, какъ возникалъ Наполеонъ; но ни одно такъ не волновало меня, какъ настоящее или, лучше сказать, грядущее событіе. Самое тяжелое въ нашемъ положеніи — неизвѣстность, туманъ, который насъ окружаетъ. Что мы такое? Чего хотимъ, за кого стоимъ? Никто не знаетъ». Подобные вопросы приводили всѣхъ мыслящихъ русскихъ къ печальнымъ отвѣтамъ. Очень опредѣленно смотрѣлъ на военные неудачи Россіи сынъ Сергія Тимофеевича Ив. С. Аксаковъ: «Какъ неумолимо правосудна судьба, — писалъ онъ отцу, — какъ жестока въ своей логикѣ! Признаюсь, — я не очень негодую на Горчакова: Севастополь падъ не случайно, не по его милости; я жалѣю, что не было тутъ искусѣнншаго генерала, чтобы отнять всякій поводъ къ искаженію истины; онъ долженъ былъ пасть, чтобы явилось въ немъ дѣло Божіе, то-есть обличеніе всей гнили правительственной системы, всѣхъ послѣдствій удушающаго принципа. Видно, еще мало жертвъ, мало позора, еще слабы уроки; нигдѣ сквозь окружающую насъ мглу не пробивается луча новой мысли, новаго начала». А. С. Хомяковъ и О. И. Тютчевъ разразились утловными обличеніями въ духѣ библейскихъ пророковъ, первый — въ стихотвореніи «Россія», въ которомъ онъ обращается къ ней съ грозными словами:

Помни: быть орудьемъ Бога
Земнымъ созданнымъ тяжело;
Своихъ рабовъ онъ судить строго,—
А на тебѣ, увы! какъ много
Грѣховъ ужасныхъ налетѣло!
Въ судахъ черна несправдой черной
И игомъ рабства клеимена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лжи мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорѣй омой
Себя водою покаянья,
Да громъ двойного наказанья
Не грянетъ надъ твоей главою!

Тютчевъ предсказываетъ это наказаніе въ стихотвореніи «На
новый 1855 годъ», о которомъ онъ говоритъ:

Но просто будетъ онъ вонитель,
Но исполнителъ Божьихъ каръ,—
Онъ совершитъ, какъ поздній метитель,
Давно задуманный ударъ.
Для битвы онъ посланъ и расправы,
Съ собою несетъ онъ два меча:
Одинъ—сраженный мечъ кровавый,
Другой—сѣкира палача.
Но на кого?.. Одна ли вья,
Народъ ли цѣлый обреченъ?..

Критическое направленіе общества распространяется на все
стороны жизни. Славянофилъ А. И. Кошелевъ пишетъ Погодину
9 июля 1855 года: «Все знаютъ, что въ насъ ложь, и даже что оста-
ется истины подъ этою покрывкою уже не можетъ принести
пользы. Я уговаривалъ Хомякова написать о лжи церковной, а
Самарина о лжи правительственной. Я собираюсь написать о
лжи помещичьей и крѣпостной. Очень бы мнѣ хотѣлось уговорить
Кирѣевскаго также написать противъ лжи. Онъ могъ бы выбрать
своимъ специальнымъ предметомъ ложь общественную или частную».

Это возбужденіе умовъ не было только принадлежностью наи-
болѣе мыслящихъ людей, но становится общимъ явленіемъ. Пого-
динъ говоритъ объ этомъ въ одномъ изъ своихъ политическихъ пи-
семъ, которые распространялись въ рукописномъ видѣ: «Умъ уже
приведенъ въ движеніе и самъ собою... Множество вопросовъ, о
которыхъ прежде и въ голову инымъ не приходило, обращается
повсемѣстно. Новыя мысли зарождаются, плодятся и по мѣрѣ сооб-
щенія увеличиваются въ своемъ содержаніи. Возникаютъ различ-
ныя желанія и надежды. Послышались иѣсни, разыгралась фанта-
зія. Все сословія волнуются одинаковымъ чувствомъ любопытства
и живого участія».

Но въ историческія эпохи, подобныя эпохѣ Крымской войны,
которыя глубоко затрогиваютъ общественную психологію, проти-
воположныя настроенія и мнѣнія иногда очень быстро смѣняются
другъ друга. Такъ какъ такія эпохи всегда являются переходными,

то и быть твердо установившихся мыслей и настроений, и люди, переживающія ихъ, склонны переходить отъ утвержденія къ отрицанію, отъ осужденія къ похвалѣ. Это мы и видимъ въ серединѣ 50-хъ годовъ въ русскомъ обществѣ. А. С. Хомяковъ, написавъ стихотвореніе «Россія», начинаетъ чувствовать горечь отъ своихъ словъ: «Я написалъ стихи,—говорить отъ въ одномъ письмѣ отъ 4 апр. 1854 г.,—изъ которыхъ, конечно, добъ совѣстный человѣкъ не выкинетъ ни слова, и ужь же? Мнѣ вдругъ стало какъ-то жалъ, что я нашей Руси наговорилъ столько горькихъ истинъ, хотя и въ духѣ любви; стало какъ-то тяжело. Видъ если я сказалъ и если другіе прочли и, любя Россію, въ то же время не слишкомъ разсердились на меня, развѣ ужь это не похвалѣ или не зналъ постоянного, хотя и не выраженного покаянія? Я написалъ другую пьесу...» Эта пьеса — стихотвореніе «Раскаивающійся Россія». Если въ первомъ стихотвореніи было много горькой правды, то во второмъ уже была «возвышающій обманъ». Здѣсь Хомяковъ обращается къ Россіи съ такими словами:

Иди! Свѣтла твоя дорога!
Въ душѣ любовь, въ десницѣ громъ,
Грозна, прекрасна—Ангель Бога,
Съ огнесверкающимъ челомъ!

Тѣ же смѣны настроеній можно видѣть у Погодина. Въ одномъ и томъ же политическомъ письмѣ «О вліяніи вѣншей политики на внутреннюю», давъ сначала мѣткую и сильную характеристику отрицательныхъ сторонъ общественнаго положенія въ Россіи и предложивъ «лѣкарства» для ихъ устраненія, Погодинъ вдругъ переходитъ отъ мыслей, питающихъ надежды, къ печальному настроенію: «А, можетъ-быть, говорить онъ, это только несбыточныя мечтанія! Можетъ-быть, и мы осуждены на такое же безплодное исканіе, какъ и Западъ, который предъ нашими глазами видѣтъ тщетнаго исцѣленія своихъ болѣзней и понадесть болѣею частью на такіа лѣкарства, которыя увеличиваютъ еще болѣе ихъ ярость».

Тѣ же настроенія, въ зависимости отъ войны, то упадка, то оживившей надежды испытывалъ Тургеневъ во время работы надъ «Рудиннымъ». Недолгій періодъ его созданія былъ полонъ событій, одно тяжелѣе другого. 25 мая во время приступа союзниковъ погибло пять тысячъ русскаго войска; 28 іюня смертельное раненіе Нахимовъ; 4 августа произошло крайне неудачное для русскаго войска сраженіе при Черной рѣчкѣ; 5 августа непріятель бомбардировалъ Севастополь; 24 августа была послѣдняя рѣшительная бомбардировка послѣдняго, и 27 августа князь Горчаковъ долженъ былъ отвести войска на сѣверную сторону. Подъ этотъ непрерывный грохотъ орудій, приносящій только неудачи, Тургеневъ изображалъ предшествующій войнѣ періодъ общественной русской жизни... Какимъ другимъ могло быть это изображеніе, какъ ни отрицательнымъ! Видъ война, въ глазахъ мыслящей части общества, подводила итоги всей русской жизни. Тургеневъ чувствовалъ это вмѣстѣ съ другими, и у него естественно не могло найтись свѣт.

лыхъ красокъ для изображенія задуманной имъ картины. Какъ Хомяковъ, онъ долженъ былъ чувствовать, что общественная жизнь Россіи полна «тѣмъ мертвой и позорной»; какъ Погодинъ, долженъ былъ видѣть, что у насъ «умъ пригнѣтенъ, воля ослабѣла, духъ упалъ, люди обмѣтели»; и, какъ Кошелевъ, долженъ былъ сказать, что «въ насъ ложь, и даже что остается истины уже не можетъ принести пользы». И Тургеневъ въ художественной формѣ даетъ отвѣтъ именно на тотъ вопросъ, который Кошелевъ хотѣлъ предложить для разработки Кирѣевскому, доборя, что «онъ могъ бы избрать своимъ специальнымъ врагомъ: ложь общественную или частную».

Въ сохранившихся письмахъ Тургенева къ С. Т. Аксакову, писанныхъ въ періодъ работы надъ «Рудинымъ», находимъ чаще всего грустные мотивы. 3 августа мы пишемъ: «Живемъ мы въ невеселое время. Война растетъ, растетъ — и конца не видать; лучшие люди (общины Нахимовъ!) гибнутъ, болѣзни, неурожаи, надежды — у насъ коровы и лошади гибнутъ, какъ мухи... Впереди еще пока никакого не видать просвѣта. Надо потерпѣть. Еще разикъ, еще разъ, какъ говорятъ бурлаки. А все же все это вознаградится съ лихвою». 5 сентября, подѣливъ свѣжымъ впечатлѣніемъ извѣстія о паденіи Севастополя, нѣсколько запоздававшая въ Силескомъ, у Тургенева вырываются изъ-подъ пера такія строки: «Извѣстіе о Севастополѣ, полученное здѣсь вчера, лишило меня всякой бодрости... Хотя бы мы умѣли воспользоваться этимъ страшнымъ урокомъ, какъ пруссаки Іенскимъ пораженіемъ!..»

Той твердой вѣры въ будущее и восторженности передъ нимъ, которая видна въ настроеніи Хомякова, у Тургенева нѣтъ. Но все-таки и его питали надежды, что отразилось въ первой цитатѣ изъ его писемъ («Еще разикъ...» и проч.). При томъ же Тургеневъ не могъ не знать и не замѣчать тѣхъ явленій, на которыя указываетъ Погодинъ, говоря, что «умъ уже приведенъ въ движеніе». Объ этомъ свидѣлствуетъ письмо Тургенева къ С. Т. Аксакову отъ 16 октября: «Мнѣ такъ хочется, — пишетъ онъ, — переговорить съ вами о многомъ... Время, въ которое мы живемъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя повторяются слишкомъ рѣдко — и все люди, мыслящіе, любящіе свою родину, должны желать сближенія и духовнаго сообщенія». Подобные моменты въ сознаніи Тургенева должны были смягчить строгость его взгляда на предшествующую общественную жизнь. Между послѣднею и возбужденнымъ волею движеніемъ умовъ надо было признать преемственную идейную связь и найти въ «рудинскомъ» періодѣ извѣстную общественную стоимость. Это и выразилось въ переходѣ Тургенева отъ критическаго осужденія типа Рудина къ признанію за нимъ извѣстнаго нравственнаго достоинства.

LXIII. *Иностранные критики о Рудинѣ.* — Иностранные критики смотрѣли на Рудина, преимущественно какъ на русскій характеръ. Датскій критикъ Георгій Брандесъ говоритъ: «Въ одной изъ его большихъ повѣстей Тургенева, въ «Рудинѣ», изображеніе неустой-

чивости такъ глубоко и такъ полно, что, на основаніи одного этого слабаго характера, научаешься понимать слабую сторону русскаго характера вообще».

Съ подобной же мысли о русскомъ характерѣ Рудина начинается освѣщеніе Тургеневскаго героя французскій критикъ Мельхиоръ де-Вогюэ: «Въ «Рудинѣ» авторъ изучаетъ темпераментъ, принадлежащій собственно всѣмъ временамъ и всѣмъ странамъ, но который какъ будто особенно акклиматизировался въ Россіи. Рудинъ — краснорѣчивый идеалистъ, ловкий на словахъ, неспособный къ дѣйствию. Онъ оцѣняетъ себя и другихъ своей многорѣчивостью, бросается въ жизнь какъ рѣзвая потоки великодушныхъ и свѣтлыхъ идей; но каждое испытаніе жизни обращается противъ него — вследствие отсутствія въ немъ характера... Не имѣя мужества ни для добра, ни для зла, онъ безиреистанно впадаетъ въ пустоту и нищету; стараясь, онъ начинаетъ сознавать свое неоправданное безсиліе; кончаетъ онъ самымъ плачевнымъ образомъ».

Характеристику Рудина критикъ заключаетъ слѣдующими словами: «Романистъ коснулся одного изъ величайшихъ недостатковъ русскаго духа и далъ своимъ соотечественникамъ полезный урокъ; онъ объяснилъ имъ, что великихъ стремленій недостаточно, что надо соединить съ ними практическій смыслъ, умѣнье владѣть собою». (Сравнить съ мыслями Дружинина, LX.)

LXIV. *Литературные образы, напоминающіе Рудина.* — Въ 1841 году появился романъ «Орасъ» знаменитой французской писательницы Жоржъ Зандъ, литературная дѣятельность которой имѣла нѣкоторое вліяніе на творчество русскихъ писателей 40-хъ годовъ.

Вотъ характеристика героя этого романа, которую даетъ авторъ изслѣдованія «Жоржъ Зандъ, ея жизнь и произведенія» В. Каренинъ:

«Орасъ человекъ одаренный; изъ него можетъ выйти незаурядный писатель, изъ него можетъ выйти и хорошій юристъ, и блестящій политическій ораторъ; онъ уменъ, отзывчивъ на все доброе, онъ понимаетъ все великое и прекрасное, у него живое воображеніе, даръ слова, способность увлекаться и увлекать своихъ собесѣдниковъ». Но въ Орасѣ слишкомъ много «себялюбія, самолюбія, тщеславія, самовлюбленности и, главное, постоянной занятости своею личностью, — и эта одна черта парализуетъ все его способности и качества, и изъ Ораса выходятъ лишь блестящій говорунъ, холодный энтузіастъ и одинъ изъ тѣхъ, столь распространенныхъ между понавшими случайно въ интеллигентную среду лицами, чуждыхъ людей, которыми стало такъ богато европейское общество послѣ все перемѣшавшей и взбудоражившей первой французской революціи. Онъ сынъ мелкаго провинціальнаго чиновника. Вѣдны: родители отказываютъ себѣ во всемъ, надѣясь, что черезъ немного лѣтъ сыночекъ станетъ на ноги, а сыночекъ теряетъ годъ за годомъ, все лишь только собираясь выбрать себѣ подходящую карьеру, критикуя все представляющіяся ему и ничего не дѣлая.

У него такіа возвышенныя стремленія и грандіозныя мечты, что ни адвокатура, ни медицина не могут его удовлетворить. Карьера политическаго оратора кажется ему тоже недостаточно безупречною, недостойною такой исключительной натуры, какъ онъ. Онъ, пожалуй, согласился бы быть литераторомъ и задумываетъ цѣлый десятокъ романовъ, драмъ, повѣстей и разсказовъ, но далѣе заглавіи и обозначенія: «первая глава», «первый актъ»—не можетъ ничего заставить себя написать. Трудъ, выдержка, отданіе себя какому-нибудь дѣлу, искусству или наукѣ—вещи для него невозможны. Онъ проводитъ время въ безконечныхъ словобреніяхъ и ораторствованіяхъ во всевозможныхъ кафе Латинскаго квартала, покоряетъ и очаровываетъ всѣхъ благоговѣнно внимающихъ ему сверстниковъ студентовъ жаромъ своего краснорѣчія, силою своихъ доводовъ, рѣзкою критикой существующаго порядка и даже своей привлекательною и оригинальною наружностью».

Типъ Ораса, какъ видно, напоминаетъ нѣкоторыя черты личности Рудина, но сюжетъ романа Жюль Зандъ не имѣетъ ничего общаго съ содержаніемъ произведенія Тургенева. Совпаденіе характеровъ Ораса и Рудина дало возможность В. Каренину сдѣлать заключеніе о вліяніи героя Жюль Зандъ на образъ Рудина. «Если отбросить,—говоритъ онъ,—всѣ особенности расы или касты, которыми отличаются Рудина отъ Ораса, то передъ нами встало бы одно и то же лицо, одинъ и тотъ же типъ краснорѣчиваго энтузіаста, который увлекаетъ другихъ и самъ увлекается своимъ краснорѣчіемъ, но который неспособенъ дѣйствовать».

Предыдущіе комментаріи показываютъ, какъ тѣсно, неразрывно типъ Рудина сплетается съ русскою жизнью 30—40-хъ годовъ, въ ея цѣломъ и въ подробностяхъ, какъ Рудинъ близко подходитъ къ историческимъ русскимъ лицамъ и какъ все произведеніе Тургенева цѣлкомъ выросло на русской почвѣ. Поэтому мнѣніе Каренина о вліяніи Ораса на Рудина совершенно теряетъ смыслъ въ виду явной историчности романа «Рудинъ». Знатокъ русской и французской литературы, переводчикъ русскихъ писателей на французскій языкъ, Гальперинъ-Каминскій, отрицая сближеніе Каренина, указываетъ на національную самобытность Тургеневскаго героя: «Типъ Рудина слишкомъ русскій для того, чтобы авторъ некалъ себѣ модель гдѣ-либо внѣ Россіи».

К. Ф. Тандеръ въ книгѣ «Датско-русскія изслѣдованія» (вып. II) замѣчаетъ рядъ произведеній датской литературы, герои которыхъ напоминаютъ Рудина. Авторъ относитъ ихъ ко вліянію Тургенева на датскую литературу. Сюда принадлежатъ романъ Шандорфа (1836—1901 г.)—«Безъ центральной точки» (1878). Характеристика героя этого романа Карла Альбректа дана въ письмѣ къ нему его товарища: «Почему случилось такъ, что всѣ твои дарованія нашли себѣ столь скудное примѣненіе къ жизни. Неужели ты предназначенъ къ тому, чтобы растратить свои силы на частныхъ урокахъ? Предлагая этотъ вопросъ, я нахожу на него только одинъ отвѣтъ: ты удалился отъ центральной точки жизни—отъ вѣры»...

«Какой-то писатель,—разсказывает Шандорфъ,—предсказать ему блестящую карьеру поэта, доцентъ по философіи нашелъ въ немъ несомнѣнную умоизрядительную способность, профессоръ математики объявилъ его рожденнымъ для своей специальности», но Карлъ Альбрехтъ только кое-какъ перебивался частными уроками.

К. Ф. Тандеръ находитъ, что и сюжетъ романа Шандорфа напоминаетъ «Рудина»: «Положеніе Рудина въ гостяхъ у Дарьи Михайловны весьма схоже съ положеніемъ кандидата Альбрехта въ домѣ графа Эгернскьольда. Какъ Рудинъ, такъ и Альбрехтъ своими рѣчами очаровываютъ и мать и дочь. И въ томъ и въ другомъ романѣ сама дочь предлагаетъ герою вступить съ нимъ въ бракъ. Свиданіе дочери съ героемъ въ обоихъ случаяхъ становится известнымъ третьему лицу, которое докладываетъ объ этомъ родителю. И графъ Эгернскьольдъ и Дарья Михайловна оба рѣшаются отказать своему опасному гостю, но тотъ ихъ предупреждаетъ и самъ уходитъ раньше, чѣмъ они успѣли привести въ исполненіе свой планъ. Наконецъ Рудинъ имѣетъ двухъ противниковъ—Лежнева и Волинцева. Также и Альбрехтъ—пастора Бергенсена и Отто Хольма. У Шандорфа всѣ трое товарищи по университету, у Тургенева только Рудинъ и Лежневъ, но студенческими воспоминаніямъ удѣляется одинаково много вниманія въ обоихъ романахъ».

Второе вліяніе «Рудина» въ датской литературѣ К. Ф. Тандеръ усматриваетъ въ романѣ «Сверхкомплектный» (1876 г.) Дракмана (1846—1908), но герой этого романа Адольфъ Брунцовъ, поскольку можно судить по характеристикѣ, которую даетъ ему К. Ф. Тандеръ, болѣе напоминаетъ Веретьева изъ «Затишья» Тургенева, чѣмъ Рудина. Затѣмъ К. Ф. Тандеръ видитъ вліяніе «Рудина» въ романѣ Икобсена (1847—1885) — «Нильсъ Луне», герой котораго является неудачникомъ и въ общественной и въ личной жизни; однако, онъ замѣчаетъ: «Въ образѣ Нильса Луны отразился не столько одинъ какой-нибудь тургеневскій персонажъ, сколько Тургеневъ вообще». Наконецъ, вліяніе «Рудина» К. Ф. Тандеръ видитъ въ романѣ Ольстера (1841—1881) — «Чужестранная птица» (1881). О героѣ этого романа Паулѣ Хоретѣ изслѣдователь говоритъ: «Паулъ Хоретъ—чистѣйшій типъ Рудина. Его холодная душа, которая довольствуется въ жизни ролью зрителя, его боязнь систематическаго труда, его брезгливое отношеніе ко всему трудовому, его краснорѣчивость, его способность увлекаться собственными словами, его готовность вѣстать на защиту благородныхъ идей, если отъ него требуютъ слова, одни слова, но не дѣла—все это характерно и для Рудина».

Изъ Тургеневскихъ типовъ ближе всего къ Рудину «Гамлетъ Щигровскаго уѣзда»—Василій Васильевичъ. Исключительно умышленная жизнь, отсутствіе воли, неумѣнье использовать окружающее, пассивное отношеніе къ препятствіямъ, широкое образованіе, идейность, воспитанная кружковыми бесѣдами и философіей Гегеля,—все это сближаетъ героя названнаго разсказа съ Рудинымъ. Но между ними есть и глубокое различіе: Василій Васильевичъ—

слишкомъ обыкновенный человѣкъ, Рудинъ — очень талантливъ. Но своему безволю и постоянному стремленію къ анализу, напоминаеть Рудина также Чулкатуринъ, герой «Дневника лишняго человѣка», но въ другихъ отношеніяхъ: по своей мнительности и какому-то мучительному напряженію всего существа, а также бездѣйности Чулкатуринъ очень далекъ отъ Рудина. Вообще, онъ морально-патологическій типъ и съ этой стороны не имѣетъ общаго значенія. Другіе «лишніе люди» Тургенева, какъ, напр., Веретьевъ («Затишье»), Визовининъ («Два пріятеля»), Лаврецкій, — по своей нравственной организаціи нѣсколько не напоминаютъ Рудина.

Кромѣ Тургенева, типъ человѣка, воспринимającego жизнь съ точки зрѣнія своихъ широкихъ идей, который онъ не можетъ согласовать съ условіями жизни, и потому вѣчно ищущаго и не находящаго, человѣка широкихъ замысловъ, но слабой воли, былъ изображаемъ и другими писателями.

Въ 1851 году въ учено-литературномъ альманахѣ «Комета» (изд. М. П. Щенкина) были напечатаны разказы Алдра Влад. Станкевича, младшаго брата Николая Владимировича, «Идеальность». Герой разказа Константинъ Сергѣевичъ Левинъ, какъ и Рудинъ, воспитанъ свои умъ въ кружкахъ молодежи, откуда навсегда вынесъ идеалистическое настроеніе. Окончивъ Левинъ образованіе, и «потонулъ» другіе дни: смущень, озадаченъ юноша представшею ему дѣйствительностью; онъ всматривается въ жизнь съ напряженіемъ, прислушивается ко всемъ ея звукамъ, тревожно допрашивается смысла всехъ ея явленій; съ недоумѣніемъ и вопросомъ обращается онъ къ людямъ, ихъ дѣламъ и стремленіямъ, и представляется ему, что настоящій смыслъ жизни скрытъ отъ него, и онъ ждетъ, что тайна и истина, наконецъ, откроется ему. Нетерпѣливо ждетъ онъ ихъ пріизванія; а жизнь несетъ мимо, и напрасны его усилія броситься въ ея волны: несокрушимы цѣль и мощь разь овладѣвшаго имъ идеала. Ноетъ и сохнетъ душа въ безплодной борьбѣ, и потянулось дни безчисленныхъ противорѣчій, безсильнаго бѣшенства, мучительныхъ сновъ и стоновъ». Левинъ становится «наблюдателемъ и соучастникомъ» жизни. Онъ много читаетъ, но самъ неспособенъ что-либо создать: «начать писать какую-то политико-экономическую статью, скоро оставилъ ее и началъ другую, о современной живописи. Не кончивши и этой, онъ началъ писать повѣсть, которую тоже не кончилъ, и сжегъ. Левинъ называетъ себя «вѣчнымъ странникомъ» и, дѣйствительно, все время перебѣзжаетъ съ мѣста на мѣсто, «никогда ничему не предаваясь и ни съ чѣмъ не заключая союза». Во время странствій онъ и умираетъ гдѣ-то въ трактирѣ. Самый сюжетъ повѣсти состоитъ въ томъ, что Левинъ полюбилъ одну искреннюю, свѣтло глядящую на міръ дѣвушку Сонечку, но бѣжитъ отъ этой любви, находя, что она чужда его идеаламъ. Въ концѣ-концовъ, но «поздно понялъ онъ, что въ жизни являются существа, въ своей живой и движущейся ограниченности болѣе прекрасныя и увлекательныя, чѣмъ безконечность отвлеченныхъ и мертвыхъ идеаловъ совершенства».

Постоянно сопоставляется съ Рудинамъ герой поэмы Н. А. Некрасова «Сани», которая была напечатана одновременно съ романомъ Тургенева въ январскомъ номерѣ «Современника» 1856 года. Левъ Алексѣевичъ Агаринъ — «современный герой» —

Книжки читаетъ да по свѣту рыщетъ—
 Дѣла свои не оставляетъ о жидеть,
 Благо знаетъ не богатыхъ отцовъ,
 Особо нлю отъ малыхъ трудовъ,
 Благо ити по дорогѣ извѣстной,
 Дѣломъ помѣшана, да разумъ развитый.
 — Ивѣтъ, я душа не растрату мою
 На муравьиной работѣ людѣй;
 Или подъ бременемъ собственной силы
 Сдѣлаюсь жертвою ранней смерти,
 Или по свѣту звѣздой пролечу!
 Миръ—говорить—осчастливить хочу!
 Что жъ подъ руками, того онъ не любить,
 То мимоходомъ бѣды умудри губить...
 Дѣло, что ты око расхуло, свободно,
 Сердцу его и доступно и свободно,
 Только дающая силу и власть.
 Въ словѣ и дѣлѣ чужда ему страсть!
 Любить онъ сильно, сильнѣй неавидитъ,
 А доведется комара не обидитъ!
 Да говорить, что ему и любовь
 Голову болѣе толкаетъ—не кровь!
 Что ему книга поелѣнная скажетъ,
 То на дунѣ его сверху и ляжетъ;
 Вѣрить, не вѣрить—ему все равно,
 Лишь бы доказано было умно!
 Самъ на дунѣ ничто не имѣетъ,
 Что вчера сказалъ, то сегодня и сѣетъ;
 Ничего не знаетъ, что завтра сожжетъ.
 Только навѣрное свѣтъ поидетъ.
 Это въ простомъ переломѣ выходитъ,
 Что въ разговорахъ онъ время проводить;
 Если жъ за дѣло возьмется—бѣда!
 Миръ виновать въ неудачѣ тогда;
 Чуть поослабнуть непердыя крылья,
 Бѣдный, кричитъ: «бездельны усилья!»

§ 3. Буренинъ въ книгѣ «Литературная дѣятельность Тургенева» указываетъ на сходство Рудина и героя «Бѣсовъ» Достоевскаго, Верховенскаго. — Полное разнѣчаніе рудинскаго типа, полное разоблаченіе его отрицательныхъ сторонъ сдѣлано Достоевскимъ въ «Бѣсахъ». Въ лицѣ Степана Трофимовича Верховенскаго мы встречаемся съ Рудинимъ, уже состарѣвшимся, окончательно расшатаннымъ и умственно и нравственно и дошедшимъ въ своей жизненной карьерѣ до того положенія, которое пророчески предсказывалъ этому герою Писасовъ, когда онъ увѣрялъ, что Рудинъ кончитъ тѣмъ, что умретъ на рукахъ престарѣлой дѣвы, которая будетъ думать о немъ, какъ о гениальнѣйшемъ человѣкѣ въ мірѣ. Достоевскій еще усиливаетъ пророческое предсказаніе Писасова: его Степанъ Трофимовичъ даже въ баришѣ, у которой онъ состоитъ приживальщикомъ, не возбуждаетъ о себѣ иного представленія, какъ

только о жалкомъ, «пустомъ, безславномъ и малодушномъ» человѣкѣ. И однакоже этотъ одряхлѣвшій и окончательно вывѣтрившійся идеалистъ живетъ среди чуждой ему и воплоти антипатичной жизни новаго поколѣнія все съ тою же юношескою, даже младенческою вѣрою въ свои эстетически гуманные принципы, доведенные имъ почти до смѣшного значенія. Отраженіе типа Рудина какъ психологическаго явленія, а не какъ созданія Тургенева, можно усмотрѣть въ разсказѣ Ю. Чирикова «Пивалиды». Его герой Крюковъ — пародистъ; събѣно вѣруеть въ общину и артель, какъ въ средства поднять крестьянскую жизнь; онъ живетъ этими вѣрова-ніями, несмотря на то, что общество ушло отъ нихъ далеко впередъ; пробуетъ примѣнить свои идеалы на дѣлѣ, но изъ этого ничего не выходитъ. «Пивалидомъ мыслѣ», разбитый на всѣхъ своихъ позиціяхъ, но не сознаваясь въ этомъ, онъ влечетъ голодную и тоскливую жизнь. По словамъ автора, Крюковъ оторвался отъ дѣйствительности, «не желаетъ считаться съ фактами», «былъ одинокъ», «все путешествовалъ и все чего-то искалъ», иногда схватывать вдругъ перо и начиналъ нервно писать, но никогда не дописывать, рисовалъ въ умѣ «грандіозныя ассоціаціи труда» и т. д. — словомъ, выполнялъ всю рудинскую программу жизни.

Книгоиздательство „КОММУНИСТЪ“.

Москва, Срѣтенка, домъ 8 (уг. Рыбникова переулка).
Петроградъ, Новарской пер., д. 2, кв. 9, 10 и 11. Тел. 227—42.

Кн. 1. И. П. Покровский. Государственный бюджетъ Россіи за послѣднія 10 лѣтъ. 2 р.

Кн. 2. Исторія социализма. Въ монографіяхъ К. Каутскаго, П. Лафарга, К. Гуго и Бернштейна. Перев. Е. и И. Леонтьевыхъ. Ч. I. За обѣ части 7 р.

Кн. 3. М. С. Александровъ. Государство, бюрократія и абсолютизмъ въ исторіи Россіи. 5 р.

Кн. 7. Петръ Масловъ. Исторія народнаго хозяйства. 3 р.

Кн. 8. А. М. Коллонтай. Общество и материнство. Государственное страхованіе материнства. 5 р.

Кн. 10. А. Деборинъ. Введеніе въ философію діалектическаго матеріализма. Съ предисловіемъ Г. В. Плеханова. 4 р.

Кн. 11. Вл. Кранихфельдъ. Въ мірѣ идей и образовъ. 3 р. 50 к.

Кн. 13. С. Т. Семеновъ. Двадцать пять лѣтъ въ деревнѣ. 3 р.

Кн. 14. Владимиръ Бончъ-Бруевичъ. Духоборцы въ Канадскихъ преріяхъ. 5 р.

Кн. 15. Владимиръ Бончъ-Бруевичъ. Къ исторіи русскаго духоборчества. 5 р.

Кн. 16. Владимиръ Бончъ-Бруевичъ. Новый Израиль. 5 р.

Кн. 17. Владимиръ Бончъ-Бруевичъ. Среди сектантовъ. 5 р.

Кн. 19. Фр. Энгельсъ. Положеніе рабочаго класса въ Англіи. Переводъ съ нѣмецкаго И. и Е. Леонтьевыхъ. 5 р.

Кн. 22. Ю. Каменевъ. Объ А. И. Герценѣ и М. Г. Чернышевскомъ. 1 р. 50 к.

Кн. 23. Б. Авиловъ. Настоящее и будущее народнаго хозяйства Россіи. 1 р. 25 к.

Кн. 24. К. Тахтаревъ. Соціологія какъ наука. 2-е изд. 3 р.

Кн. 25. Ю. Каменевъ. Экономическая система имперіализма. 4 р. 50 к.

Кн. 26. К. Марксъ и Фр. Энгельсъ. Манифестъ коммунистической партіи. 3-е изданіе. 2 р.

Кн. 27. В. П. Милютинъ. Рабочій вопросъ въ сельскомъ хозяйствѣ Россіи. 1 р. 50 к.

Кн. 28. В. П. Милютинъ. Сельско-хозяйственные рабоче и полит. 3 р. 50 к.

Кн. 29. Ю. Сте ловъ. Карлъ Марксъ, его жизнь и дѣятельность. 3 р. 50 к.

Кн. 30. Подъ старымъ знаменомъ. Сборникъ статей. 1 р. 50 к.

Кн. 31. С. О. Загорскій. Война послѣ мира. 5 р.

Кн. 32. Ж. Гедъ и П. Лафаргъ. Программа рабочей партіи, ея основанія и комментарий къ ней. 1 р. 50 к.

Кн. 34. И. В. Чернышевъ. Памятная книжка марксиста. 7 р. 50 к.

Кн. 36. Владимиръ Бончъ-Бруевичъ. Волненія въ войскахъ и военныхъ тюрьмахъ. 3 р.

Кн. 37. Н. Ленинъ. (Вл. Ульяновъ). Аграрная программа социаль-демократіи въ 1-й русской революціи 1905—7 г. 4 р.

Кн. 38. Н. Ленинъ. (Вл. Ульяновъ). Изъ исторіи социаль-демократ. аграрной программы. (Статьи 1901—1906 гг.). 1 р. 75 к.

Кн. 39. Н. Ленинъ. (Вл. Ульяновъ). Новыя данныя о законѣ развитія капитализма. (Соединенные Штаты). 3 р.

Кн. 40. Н. Ленинъ. (Вл. Ульяновъ). Государство и революція. 2 р. 50 к.

Кн. 41. Н. Ленинъ. (Вл. Ульяновъ). Имперіализмъ, какъ новѣйшій этапъ капитализма. 2-ое изд. 2 руб. 50 к.

Кн. 42. Н. Крупская. Народное образованіе и демократія. 3 р.

Кн. 43. Ю. Каменевъ. Борьба за миръ. 2 р.

Кн. 44. Ю. М. Стекловъ. Международная политика рабочаго класса. 1 р. 20 к.

Кн. 50. Мих. Павловичъ (М. Вельтманъ). Французскій имперіализмъ и экономическое развитіе франціи въ XX столѣтіи. 2 р.

Кн. 51. Н. Ленинъ (Вл. Ульяновъ). Аграрный вопросъ въ Россіи къ концу 19 го вѣка. 1 р. 75 к.

Кн. 52. Карлъ Каутскій. Эрфуртская программа. Ц. 4 руб.

Кн. 53. Вл. Мещеряковъ. Націонализация и социализация земли. 2 р.

Кн. 54-я. Л. Д. Троцкій. Октябрская революція. 3 р.

Кн. 55. М. П. Павловичъ. (Мих. Вельтманъ). Милитаризмъ, маринизмъ и мировая война. Ц. 2 р. 65 к.

Книгоиздательство „КОММУНИСТЪ“.

Москва, Срѣтенка, д. 8 (уг. Рыбникова пер.).

Петроградъ, Поварской пер., д. 2, кв. 9, 10 и 11. Тел. 227-42.

ОТДѢЛЪ ПОДЪ ОБЩИМЪ ЗАВѢДЫВАНІЕМЪ

И. СТЕПАНОВА,

при участіи: Н. Бухарина, П. Дауго, Г. Зиновьева, Ю. Каменева, Н. Ленина, Н. Лукина, А. Луначарскаго, Н. Мощерикова, В. Оболенскаго, М. Ольминскаго, В. Орловскаго, М. Покровскаго, В. Смирнова, Ю. Стеклова и друг.

К. МАРКСЪ. Собраніе сочиненій. Юбилейное изд.

Все изданіе—близкое къ полному собранію сочиненій—составитъ до 35 томовъ по 25—30 листовъ (400—500 стр.) большого формата. Въ это юбилейное изданіе войдутъ какъ всѣ работы, появившіяся до сихъ поръ въ Германіи и Англіи отдѣльными изданіями, такъ и работы, разсылаемыя по разнымъ періодическимъ изданіямъ.

Въ настоящее время печатаются: „Теорія прибавочной стоимости“ въ переводѣ Н. И. Бухарина; „Капиталь“ и дополненное изданіе „Собраніе историческихъ работъ“, въ переводахъ подъ ред. В. Базарова и И. Степанова, вновь пересмотрѣнныхъ И. Степановымъ.

Ф. ЭНГЕЛЬСЪ. Собраніе сочиненій.

Намѣчены три тома большого формата, по 25—30 листовъ каждый. Въ „Собраніе“ войдутъ какъ работы, появившіяся отдѣльными изданіями, такъ и журнальныя статьи Энгельса.

Книжные склады и магазины „Коммунистъ“ (Москва, Срѣтенка, д. 8 (уг. Рыбникова пер.), и 2-й домъ Софѣевъ, Театральная площадь) принимаютъ на себя выполненіе всѣхъ книжныхъ заказовъ какъ для частныхъ лицъ, такъ и для партійныхъ, совѣтскихъ, городскихъ, общественныхъ и правительственныхъ учреждений и учебныхъ заведеній всѣхъ комиссаріатовъ.

Выполняютъ заказы по пополненію и устройству новыхъ книжныхъ складовъ и магазиновъ. Высылаютъ регулярно всѣ новинки книжнаго рынка. Составляютъ новыя и пополняютъ уже существующія бібліотеки и читальни. Подбираютъ книги для частныхъ лицъ по всѣмъ отраслямъ знанія. Книжные склады принимаютъ изданія какъ на комиссію, такъ и на главный складъ. Въ провинцію книги высылаются наложеннымъ платежомъ.

КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ „КОММУНИСТЪ“,

Москва, Срѣтенка, д. 8. (уг. Рыбникова пер.).

Петроградъ, Поварской пер., д. 2, кв. 9 и 10. Тел. 227—42.

БИБЛИОТЕКА ОБЩЕСТВОВЪДѢНІЯ.

Кн. 28-я. В. П. Милютинъ. Сельско-хозяйственные рабочіе и война.

4 р. 50 к.

Кн. 30-я. Подъ старымъ знаменемъ. Сборникъ статей. 2 руб.

Кн. 31-я. С. О. Загорскій. Война послѣ мира. 5 руб.

Кн. 32-я. Ж. Гедъ и П. Лафаргъ. Программа рабочей партіи, ея основанія и комментаріи къ ней. 1 р. 50 к.

Кн. 33-я. И. В. Чернышевъ. Крестьяне объ общинѣ.

Кн. 34-я. И. В. Чернышевъ. Памятная книжка марксиста. 4 руб.

Кн. 35-я. И. В. Чернышевъ. Исторія общины въ Россіи.

Кн. 36-я. В. Д. Бончъ-Бруевичъ. Волненія въ войскахъ и военныя тюрьмы. 3 руб.

Кн. 37-я. Вл. Ильинъ. Аграрная программа социаль-демократіи въ 1-й русской революціи 1905—7 г. 4 р.

Кн. 38-я. Вл. Ильинъ. Изъ исторіи социаль-дем. аграрной программы (Статьи 1901—1906 г.). 1 р. 75 к.

Кн. 39-я. Вл. Ильинъ. Новыя данныя о законѣ развитія капитализма. (Соединенные Штаты). . . 3 руб.

Кн. 40-я. Вл. Ильинъ. О государствѣ. 2 р. 50 к.

Кн. 41-я. Вл. Ильинъ. Имперіализмъ, какъ новѣйшій этапъ капитализма. 2-е, дополненное и исправленное изданіе. 2 руб.

Кн. 42-я. Н. Крупская. Народное образованіе и демократія. . 3 руб.

СКИТАЛЕЦЪ.

Томъ первый. СКВОЗЬ СТѢНЫ. Содержаніе: Сквозь стѣны. — Композиторъ. — Церковный староста. — Спѣвка. — Ранняя обѣдня. — Октава. Цѣна 2 р.

Томъ второй. ЗА ТЮРЕМНОЙ СТѢНОЙ. Содержаніе: За тюремной стѣной. — Кандалы. — Проранъ. — Дѣлъ Матвѣй. На лонѣ природы. — Въ деревнѣ. — Къ роднымъ сестрамъ. Цѣна 2 р.

Томъ третій. ПОЛЕВОЙ СУДЪ. Содержаніе: Полевой судъ. — Свидѣтель. — Лѣсъ разгорался. — Въ дорогѣ. — Сумерки. — Рѣка Уса. — Родной. — Талантъ. — Ределя. — Несчастье. — Икаръ. — Любовь. — Разливъ. — Волжскія пѣсни. Цѣна 2 р.

Томъ четвертый. ОГАРКИ. Содержаніе: Огарки. — Федоръ Ивановичъ. — Горемыкинъ. — У Дормидоншки. — Гаркуша. — Встрѣча. Ц. 2 р.

Томъ пятый. ЭТАПЫ. Содержаніе: Этапы. — Любовь декоратора. — Миньона. — Колдунъ. — Вій. Цѣна 1 р. 75 к., въ перепл. 2 р. 60 к.

Томъ шестой. МЕТЕОРЪ. Содержаніе: Метеоръ. — О Львѣ Толстомъ. — О Шаляпинѣ. — Современникъ Пушкина. Цѣна 2 р.

Томъ седьмой. МЕСТЬ. Содержаніе: Местъ. — Квазимодо. — Клоунъ. — Безъ сезона. — Антихристовъ кучеръ. — Модіумъ. — Дуэль. — Въ лѣсу. — Разсказы о заграничѣ. Шелька. — Давосъ. Виллафранка. Ц. 2 р.

Томъ восьмой. ПѢСНИ. Цѣна 2 р.

Томъ девятый. ВОЛЬНИЦА. Цѣна 2 р.

PG Danilov, Vladimir
3420 Valerianovich
R83D3 Kommentarii k romanu I.S.
1918a Turgeneva "Rudin"

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
